Тернии

Часть вторая

Тернии

Свидание

Слезный туман застилал всю улицу, плыл перед глазами, мешал идти. Каких-нибудь полчаса назад Нина Васильевна увиделась с мужем после полуторагодовой разлуки. Ей дали свидание с ним в конце сентября перед его высылкой из города в Сибирь. Коротенькое, вмиг пролетевшее время «там» потрясло ее до основания. Увидеться и говорить с заключенным разрешалось при таких обстоятельствах — один на один, не считая стоявшего у двери дежурного, в маленькой комнатке с высоко поднятым окном, но им сразу было указано известное расстояние друг от друга — это-то и взволновало Нину Васильевну, заставило чуть не разрыдаться, сверх сил держать себя в руках. И все, что ей довелось увидеть и осознать во время их свидания — по выходе оттуда, — хлынуло наружу и вылилось в горячих слезах. Как сквозь сон шла она мимо стен гранитного массива, как в неясной мучительной дреме села перед мостом в трамвай, насухо вытирая глаза, но ощущая, что все равно рыдания сдавливают и сердце, и голову щемящим вопросом — как же ей теперь быть? Как с ним быть? Получив свидание, Нина Васильевна не мечтала, конечно, увидеть своего прежнего Павла, она даже внушила себе, что теперь он не прежний высокий, дородный человек, но та тень, что появилась перед ней в дверях комнаты, покашливая надсадным кашлем, силясь улыбнуться совершенно беззубым ртом, и, наконец, улыбнувшаяся ей осклабленно, и жалкое отечное лицо, бледность — град слез из-под опухших век. Это был не он. Но как же не он? Он самый, Павел, но совсем другой, новый, и думать о нем надо по-другому, по-новому...

Первым движением сердца по выходе «оттуда» было ехать за ним, бросить все — комнату, школу, привычную жизнь, мать перевезти к сестре, ликвидировать все в городе и, теряя свое лицо, поселиться с Павлом там, где он будет начинать новую жизнь,

всю себя отдать делу поправления его здоровья. Везде, даже в самых дальних селах есть школы и учреждения, а если не удастся, то в ясли, в больницу, тем более что она работала сестрой в 1914—1915 году, подобно многим. Наконец, в сельмаг, да она еще достаточно сильна, чтобы запросто окунуться в колхозную работу, хотя и не привыкла к ней... Руки и ум всюду нужны, пригодятся для новой жизни.

Так рассуждала она, понемногу успокаиваясь, по дороге в школу (по соглашению с директором и завучем она заблаговременно выговорила себе опоздание до четырех часов дня). Шел второй день конференции... Оставалось три дня до начала занятий.

Лишь только она вошла и заняла место, ей начали снова настойчиво предлагать воспитательский час.

Нина Васильевна вспыхнула и стала горячо отказываться, заявляя, что по многим причинам не может согласиться на подобное предложение, что у нее и так много нагрузочной работы. А когда дело уладилось, и час был передан более юному педагогу и, значит, все вышло на пользу Нины Васильевны, то она обрадовалась так, будто впрямь намеревалась остаться в школе. Всегда активная и скорая на выступления, она сегодня сидела в стороне и думала о своем уходе. Когда же ей решиться подать заявление? Сроки пропущены. Будь свидание с Павлом хоть двумя неделями раньше — другое дело, а теперь, когда распределены классы, уроки, когда готов план занятий? Кто ее отпустит за два-три дня до первого сентября? И кто же тогда поможет Павлу с посылками и переводами? Нина Васильевна была достаточно честна, чтобы не понять своего отступления. Она все же еще бранила себя малодушной, трусихой и упорно тут же составляла в уме заявление со всеми прямыми и непрямыми мотивами ухода. Выходя в шестом часу вечера из школы, она столкнулась с завучем, та ей вручила несколько новых учебников, связанных бечевочкой, прося их просмотреть и дать срочное свое заключение «вот об этой хрестоматии» и «вот об этой арифметике». Нина Васильевна сунула книги в портфель и вышла на улицу с головной болью и самыми разноречивыми помыслами. Книги, конечно, ничему не мешали, но дома уже не стало никаких сил писать заявление. Завтра надо было не только не опоздать, как случилось сегодняшним днем, но, если уж оставаться при деле, то войти в весь курс дня и его занятий... Ведь это заключительный день всей конференции! Она легла на оттоманку и долго лежала, спрашивая себя, как поступить? Как быть?

Поздно вечером, придя в себя и отдохнув, Нина Васильевна рассказала матери о свидании с Павлом. На душе стало легче от сочувствия, но все ярче сознавалась несостоятельность порыва ехать к нему. Уже то говорило на пользу ее решения, что она сразу скрыла от матери свое безумное и спешное движение в неведомую даль. Она вполне ясно сознавала, что этого не надо делать — пока. А что крылось под этой отсрочкой? Ехать кому-то надо. Ей сказали, что его ссылают в Западный распределитель — в Новосибирск. Он болен, слаб, психически потрясен... Как и кем будет он работать на воле? Не может ведь он очутиться грузчиком на баржах на Оби? Или делать, например, комбайн? Надо, чтобы около него был кто-то в помощь, пока он не окрепнет. Но кто? Кому поручить такое дело? Кто способен его встретить и ему помочь? Волнуясь в процессе набегающих мыслей, вся — сама искренность, Нина Васильевна, однако, хорошо понимала, что, говоря о помощниках, она уже вычеркнула себя самою. С каждым вопросом к матери, с каждой вылетающей из уст фразой она как бы отделялась от прежде задуманного плана действий. План этот не выявлялся сам собой. Он не рождался в жизнь. Мелькнул на несколько часов самонадеянной дерзостью и исчез, как юношеская мечта. Вот перед нею сама реальность момента: ботаника в цветастой обложке, вот хрестоматия, только вышедшая из печати, хорошо пахнущая, как и все новые книги, свежим тиснением и клеем; в числе составителей, на первом месте — ее фамилия. В них, этих новеньких книжках, заключено главное, что она должна делать, чтобы помочь Павлу...

— Арсений! — внезапно нарушил молчание голос матери. — Брат. Родной брат и врач. Чего же лучше? Если понравится, там и устроится. Что ему терять? Бобыль. Дети не плачут. Завтра же сообщи. Пусть едет за ним следом. Дай ему телеграмму сразу же, с утра.

При имени Арсения Нина Васильевна сразу же оживилась. Как просто — Арсений. Вот ему большое жизненное дело. Как она сразу не подумала о нем?

Ночь наступила. Обе легли. До утра не спала Нина Васильевна. Во всей силе напряженных струн бессонницы она за одну ночь пережила всю жизнь с ученым, рано облысевшим, молчаливым человеком, всегда углубленным в какие-то свои тайные, с ней не разделенные мысли. Ее сердце впервые забилось к нему томящей жалостью. Она начала соображать — какие ему пошлет потеплее носки и варежки. Что ему положить в чемодан самое главное,

необходимое? Непременно — вечное перо, любимую чернильницу, сафьяновый бювар. Что еще? От одного перечня вещиц и вещей, связанных с его нуждами и привычками, на ее душе становилось легче и легче. С ее стороны уже выявилась необходимая, активная помощь от предвкушения того, что он получит все свое, домашнее, знакомое и обрадуется ему. Ощутилось даже подобие радости. В пятом часу утра она уснула; мать разбудила ее в самый крайний срок, чтобы ехать в школу.

Арсений

Вместительный семейный чемодан, годами стоявший на старом стеллаже, в прихожей, был снят, обметен и вычищен. Пахло нафталином от шубы и овчинного тулупчика-безрукавки. На диване громоздились русские сапоги, валенки, теплый свитер. Время не терпело — Нина Васильевна торопилась, ей сказали в день свидания, что его партия уйдет на днях. До Западного распределителя Новосибирска — пять-шесть дней. Как быть с тяжелой шубой? Отнести ее сейчас туда, где он? А вдруг их уже услали? Ее не примут? А примут — как он потащит ее на своих слабых плечах? Наконец шуба была зашита вместе с валенками и овчиной в старый плед и суровую шторку, а теплое белье и всякая домашняя утварь наполнила чемодан. Сюда поместились и его вещицы, письменные принадлежности, книги, необходимая посуда. По мере того, как наполнялся чемодан, с его отделениями и засовывалось по углам все мягкое и мелкое, Нина Васильевна вспоминала еще про что-то весьма нужное и ценное «там». В процессе укладки вещей заискрилась мысль, что он где-то вблизи, ненадолго разлучен с ней, развода нет, они снова молоды, он вернется, и тогда-то наступит и для него и для нее дружная совместная жизнь, лишенная пререканий и непониманий. Ей показалось, что он, получив вещи, рассматривает их с радостью и даже улыбается. Хотелось еще и еще наполнять чем-то домашним, милым все местечки и впадинки, от чего бы он пришел, как она мечтала, в умиление, довольство и покой. Наконец, вот еще несколько коробочек кальцекса, аспирина, кодеина, — нет числа таким коробочкам! Наконец, чемодан готов к отправке. Довольная и усталая Нина Васильевна села на диван, закрыла глаза и думала о благополучном маршруте теплых вещей — ну, как переменится погода? — и о том, что надо еще было положить кусочек мыла и стеариновую свечу.

Тут как раз и явился Арсений Петрович. Он служил в пригороде, в сорока верстах от Ленинграда и приехал по телеграмме. Вошел, щурясь на яркий луч осеннего солнца, был готов принять обычное шутовство, но озабоченный вид Нины Васильевны его отрезвил. Он сел против нее на качалку и спросил, куда и когда отправляют брата.

— Дорогая моя! — на лице у него появилось выражение благочестивого начетчика. — Все с нами происходящее содействует благу, и наш Павел, конечно, с его настроенностью...

Нина Васильевна встала, нахмурилась...

— Одним словом, милейшая, — «блаженны изгнанники правды ради...»

Тут Нина Васильевна ударила кулачком по ручке дивана.

— Арсений, если вы еще хоть слово из Священного Писания, я... не знаю что... убью вас на месте. Дело в деле, и надо нам обоим — к делу, и возможно скорей!

— Драгоценная! Нафанаил, в котором нет лукавства, разве я говорю не дело?

— Не дело! Во-первых, с Нафанаилом мог меня сравнивать только Павел, у него не выходило кощунства, а вы — не Павел и не смейте. Я не девочка, и вы не миссионер. Ненавижу ханжей, а особенно в халате врача. Знаете свой глаз и хватит, а насчет небесного — мне достаточно Павла.

Арсений Петрович выслушал, не обидясь: к его чести сказать, был он не обидчив. Он только отодвинулся немножко и смиренно спросил: «К чему приступать? Все ли уложено? Где бечевки?»

Ее взгляд скользил по навьюченному чемодану...

— Вот и я думала... все ли в него уложено? Не надо ли еще чего?

Оба, как сговорясь, начали все выгружать обратно на диван и на стол. Когда чемодан опустел до самого дна, он проговорил, как бы вскользь:

— Конечно, тут же нет самого главного, ангел...

— Чего же?

— Трех или четырех вещей. Но я боюсь, что вы меня опять... или убьете, или...

— Перестаньте, прошу, ломать шутки. Я не Иван Грозный. Чего не хватает Павлу из вещей? Говорите.

— Вы не положили, ангел, епитрахили, поручей, Требника... Да еще, пожалуй, камилавочку, самую плохонькую... что-ли...

— Зачем ему это «там»? Он поражен в своих правах.

— В правах, вы правы, но не в сане. Сан при нем, мало ли что может случиться. Помните стихи: «... мы живем в стране далекой, где ни церкви, ни попов, где живут в нужде великой птицелов и рыболов...» Иметь такие вещи при себе не возбраняется никак. Ведь это же его орудия, так сказать, производства. А он всюду и везде иерей в сущем сане.

Теперь на ее глазах теплились слезы.

— Арсений, вы молодец! Устыдили меня! Я не убью, а поцелую вас за совет. И как я сама не подумала... Ну, так все мы ему положим сюда, я сейчас достану, и еще вот маленькое Евангелие, его Требник...

Вдвоем снова уложили чемодан, замкнули, обшили, обвязали, и вечером же свезли обе вещи на багажную станцию, с адресом: Новосибирск, Западный распределитель, домзак — малой пассажирской скоростью. В две недели дойдет! — решили оба. Теперь еще тепло. До морозов получит.

Арсений Петрович, сразу согласившийся использовать свой отпуск на поездку к брату, обещал еще прихватить две-три недельки за свой счет. В тот же день заняли денег на билет и расходы. По расчету Нины Васильевны выходило так: конечно, Арсений Петрович приедет скорее, чем брат; там его подождет, выправит подоспевший багаж, вместе с Павлом поедет к месту его назначения... Итак — две недели на побывку с братом в селе или в городе, куда его назначат, а до этого неделя в дороге, неделя в пути к точке высылки, и еще две недели в запасе — вернуться обратно... Неведомая Сибирь им представлялась родной страной, ожидавшей к себе не ссыльного иерея, а усталого путника.

Воиновы

В тот же вечер, прямо с вокзала, усталая и взволнованная, Нина Васильевна заехала к Воиновым — своей золовке и племяннице отца Павла. Неспокойно было у нее на душе. Главное, тревожил неустойчивый, не сразу решившийся на дорогу Арсений. Мария Петровна выслушала ее внимательно и сейчас же прямодушно заявила, что, хорошо зная характер Арсика, считает, что он может подвести в последнюю минуту. Тут сразу вскипела Аля, до того мирно гладившая белье.

— Но почему так думать, почему? Дядя Арся все выполнил, что обещал. Зачем дурно понимать о человеке? — так горячилась она.

— Молчи уж ты, Аля! — строго сказала ей мать. — Не знаешь ничего, так молчи... А в случае, если он откажется, Ниночка, кому же тогда ехать? У тебя — школа и... вообще ты же теперь...

Мария Петровна не договорила... Развод Нины Васильевны с братом Павлом когда-то сильно огорчил ее. И теперь она, если бы не сдержалась, сказала бы: «Тебе-то что? Когда вздумала его жалеть». И многое накопившееся в душе повытрясла бы она, но и Алино присутствие, и слезы на глазах Нины Васильевны сковывали порыв. Она только повторяла: «Да, да... Кому же ехать тогда? Кому?»

С такой же горячностью, как в тот день, когда ею было принято решение следовать за мужем, Нина Васильевна нервно и обидчиво роняла слова о том, что, конечно, Мария Петровна может и имеет право судить ее за то, что она не едет, но она обдумала все и спросила себя: кто же тогда поможет Павлу во всем — деньгами, посылками? Пусть ее судит весь мир, но терять свое лицо, смести как сор двадцатидвухлетний стаж, ехать за неверным заработком на окраину Сибири... Да и будет ли смысл? Сбережет ли она его?.. Если б сама Мария Петровна видела Павла, каким он теперь стал! Тень!

Ее речь как бы ударила по тайникам мысли Марии Петровны. Горячо любящая своего брата, она теперь начала понимать новое состояние Нины Васильевны. Что-то донельзя искреннее, простое, впервые осознанное через соприкосновение с человеческим несчастьем послышалось в знакомой скороговорочной речи. Слова оборвались, Нина Васильевна поднялась с места, подошла к окну и, оторвав сухую веточку герани, сказала через душившие ее слезы.

— Если бы можно было вычеркнуть... последние восемь лет... я бы, кажется, все... все... — Голос у нее упал. Она плакала. Мария Петровна наклоняясь над столом, тоже вытирала слезы. Аля, покончив с утюгом, что-то писала в своем блокноте. Все молчали... Внезапно блестящие звоночки девичьего голоса ворвались в тишину комнаты:

— Если никто не поедет — я поеду к нему. Так и знайте!

— Тебя только не хватало! Не ерунди! — крикнула на нее мать.

— Ходи в свою аптеку, учись, фасуй порошки. Ты ведь теперь без трех минут фармацевт, — бегло обернулась к ней Нина.

— Ну что же, практика у меня не уйдет, техникум окончен... до старости далеко... — и шутила и не шутила Алечка. Но в ту же минуту у Нины Васильевны родилась мысль: «Если не поедет

Арсений, то не выход ли это из положения? Вещи Аля примет, передаст ему... возможно, что получит с ним свидание, свезет письма, поручения, гостинцы. Проедется в Сибирь и назад... А вернется, сразу через РЗО устроится на место. Наконец, пока Павел будет в Западном распределителе — она побудет с ним, а может быть, что его выдадут на поруки, ведь такой он больной». Так и рисовались всякие планы во встревоженной голове. Девочка с горячим отзывчивым сердцем! Что там и говорить!

Все случилось, как предчувствовала Мария Петровна. Билет в Новосибирск достали за 4 дня до отъезда, но за двое суток перед дорогой Арсений Петрович явился к Нине Васильевне с самым растерянным видом и повинной головой: ехать он не может, хоть убейте его.

Столько уже было говорено, столько сомнений насчет его решения пережила Нина Васильевна, что известие это не поразило, как громом, но, нервная и вспыльчивая, она сразу не могла выговорить ни слова, затем разрыдалась — таким образом разрядился гнев на Арсения. Он же стоял как пришибленный и повторял:

— Имею веские причины, дорогая, умоляю выслушать необычайные препятствия, прошу не сердиться. Вы сами поймете, не от меня зависит, выслушайте — потом бейте.

Такое многословие не могло удовлетворить Нину Васильевну, но все же она дала ему высказаться, притом держала себя на расстоянии от его смущенной фигуры, когда он с расстановками и заминками разъяснял причины своего отказа.

— Пришел я, дражайший друг, к себе в поликлинику, говорю им: так и так, отпуск мне полагается, ну, я еще за свой счет прихвачу. Они — ни гугу. Значит, с отпуском улажено. Пишу заявление, наложена резолюция, против отпуска никто ничего не имеет. Все случилось в тот самый день, когда я заезжал три дня назад к вам, мой ангелочек.

— Хорошо, я слушаю дальше!

— А дальше, дорогой Нафанаил, то есть я хотел сказать ангел, развернулись события. Человек предполагает, а Бог... — Нина Васильевна сделала жест рукой и дернула плечами. — Я не ханжу, не ханжу, я смирился, мое золото, только не ругайте меня...

— Так, но какие же могли быть препятствия? Вы, казалось мне, откликнулись от души, какие же препятствия? Отпуск был разрешен, что же случилось?

— Вот-вот, непредвиденное и случилось! Ночью внезапно заболел главврач поликлиники — сердце, что ли, какой-то приступ. Отвезли срочно в больницу. Кому его заменить? Срочное совещание. Кому его замещать, дорогуся, милуша? Без меня меня женили. Назначили именно меня. Всем коллективом... меня...

— Как же так? А отпуск?

— А отпуск, милуша, в таких делах в расчет не принимается. Ведь я и вообще-то предполагал взять его позднее. Ведь у меня не туберкулез там какой-либо, чтобы срочно в санаторий... Я уж и так не говорил им про Сибирь, мягче сказал — про Урал. А тут дело товарищеское, коллектив...

— Арсений, вы просто рохля какой-то... Я вас не понимаю и не берусь понимать. Ваше прямое дело — помочь брату, а вы уступаете свои услуги чужому. Других врачей разве нет? Почему именно вас? Я и в толк не возьму — как это вас назначить? Прок-то какой от вас? Воображаю, что вы там можете назаведовать. Какой вы администратор? Курам на смех! Какие у них были мотивы назначить именно такого тюфяка?

— Радость моя, это каких-то всего две-три недельки. В такой короткий срок и тюфяк может что-либо...

— Напакостить, это верно... У вас билет на руках, больной брат едет за тысячу верст — и вы не могли им представить довода?

— Ангелок, как бы я мог им осветить положение? Абсурд... Я им и так, и сяк спервоначалу: Урал, говорю, еду на Урал. А потом сразу меня назначили и ни про какой Урал не вспомнили. Притом, знаете, что мне пришло в голову? Что все неспроста в жизни. Сколько бы денег ушло на мою дорогу. И вы еще заняли около трехсот. А сейчас я вдвойне подработаю, и мы с вами пошлем основательную посылку. Билет мы сразу продадим, сегодня же. Сразу же на вокзал, к кассе. Я откровенно скажу, дорогая, как меня по службе назначили заменять, что-то от души отлегло.

Нина Васильевна встала во весь рост, смерила деверя царственно-гневным взором:

— Отдайте билет!

— Я... я его продам, дорогая, не беспокойтесь, сейчас же...

Впрочем, достал билет из блокнота, отдал его и тихо вышел из комнаты. Нина Васильевна прилегла, зарыла лицо в подушку и замерла от досады и гнева.

Аля

Матовая семидесятисвечовая лампа под зеленым плоским круглым колпаком, такая знакомая по всем учреждениям, школьным классам, больницам, канцеляриям, мягко и уютно освещала большой стол, на нем поставленный шкафчик с открытыми полочками, с расставленными на них баночками с притертыми пробками. С другой стороны ламповый свет падал на десятки согнутых для расфасовки бумажек, на маленькие янтарного цвета весики, что качались из стороны в сторону на тоненьких шнурочках, пока не приходили в равновесие. Зоркие молодые глаза следили за точностью и тотчас же ссыпали порошок за порошком на бумажку. Ламповый свет обливал все стороны стола, всю деятельность. После фасовки порошков шла наклейка ярлычков, дальше — проверка взвешивания наркотических лекарств, ею заведовал провизор. За столом сидело четверо фельдшериц-практиканток, весною окончивших техникум, из них Аля Воинова — на фасовке порошков. Ее мысль всецело угнездилась в кодеиновую дозу... и ни о чем другом она не помышляла. Неровен час, опять заволнует голос провизора, как было недавно с люминалом: «Проверьте ваши весы, без ножа меня не режьте, — кричал он, — 0,1, 0,1 и вдруг 0,2! Откуда взяла такое 0,2? Я спрашиваю — откуда оно взялось? Вы взвешиваете картошку, огурцы или наркотики? Я вас спрашиваю — вы на рынке или в аптеке?»

— 0,015! — шепчет Аля.— Где они опять, эти разновески? Вечно я их теряю. Сюда — 0,2! Так, скоро у меня все готово. Скорей домой!

— Товарищ Воинова! — послышалось с порога. — Выйдите в аптеку!

В дверях стояла Нина Васильевна с известием об отказе Арсения Петровича ехать в Западный распределитель и с просьбой помочь ей в продаже билета на вокзале, вот он — билет. Все закружилось в Алиной голове при виде бежевой картоночки, обернутой в плацкарту. В ней заключалось все — дорога к батюшке, встреча с ним, помощь ему, благословение от него, свое приобщение хоть на короткие моменты к его подвижнической жизни. Бежать, лететь к нему, навстречу удивительному, чудесному случаю поездки. Бежать отсюда из монотонного, серенького, повседневного быта, там же быть полезной в получении вещей, да и мало ли в чем! Сутки, всего сутки с какими-то часами до поезда! Надо успеть все —

оставить свое практикантское дело, все недоделанное здесь, заявить о своем срочном отъезде — и в дорогу!

Услышав от Али два слова: «Я еду», Нина Васильевна обняла ее, порывисто расцеловала и вместе с нею начала действовать.

Алю отпустили легко в ее экстренный отпуск по болезни родственника. Она не была в штате, а училась на фармацевта, окончив весной отличницей техникум. С Алей работала еще одна практикантка, она и осталась заменить Алю. Так что ее решение ехать, казалось, встретило одобрение Высшего Промысла. Нина Васильевна сразу начала вводить девочку в ее истинную роль: помочь дяде Павлу с его отправкой к месту заключения, уже не говоря о том, что его надо разыскать в распределителе, затем — получить багаж, что идет малой скоростью и, возможно, уже уедет в Новосибирск, и когда все будет получено, проводить дядю Павла... — на поезд ли? На пароход ли? Тут кончились все ее познания и понятия — где, как и когда произойдет встреча дяди с племянницей. Нине Васильевне казалось, что раз его отправили в Западный распределитель, значит он, когда приедет туда, будет сразу вольным? Следственным? И Аля может взять его на поруки?

Для матери решение Али не было неожиданным. И материнское сердце-вещун, да и согласие Арсения сразу казались сомнительным, и тогда сразу же Мария Петровна подумала, что никто другой, кроме Али, не может честно и как должно выполнить такое задание. Лишь бы, думала она, ничего бы не предпринимала сверх сил и возможностей ее горячая и впечатлительная девочка. Запальчивая такая! Надо было спешить достать лишнюю сотенку, собрать Алю в дорогу. Мария Петровна во многом переборола в себе мать. Она не урезонивала Алю, не колебала ее ни в чем, не молила остаться, уяснила себе хорошо, что все в этой поездке совершается по каким-то неопровержимым законам духа. Она только просила дочь, если уж та решилась на смелый поступок и рисковала потерей учебного года, — быть осторожной и сдержанной во всех обстоятельствах пути. Она, подобно своей невестке, создала в своем уме план Алиных действий в Сибири, уложила его в недельные сроки, рассчитала с точностью, как в аптеке, скудные средства, что должны были израсходоваться в пути. По ее вычислениям Аля должна была вернуться в половине октября. Месяца с неделей ей, конечно, хватит! Потому зимнего пальто и не уложила. Обе, и мать и Аля, не допускали мысли о задержке в Сибири, наоборот, рассчитав все возможности пути, свидания, получки багажа, прово-

дов брата, остались очень довольными цифрой — тридцать семь дней. Все же мать тосковала и, укладывая вещи в чемодан, уронила туда не одну слезу. Аля целовала ей руки, говоря, что Бог во всем поможет и все в Его воле. Это хорошо знала и сама Мария Петровна, и все же сердце ее сжималось тревогой за Алин далекий и рискованный путь.

Новосибирск

Новосибирск, куда в начале сентября приехала Аля, сразу встретил ее многолюдством на вокзале, толчеей на перроне, белой пылью на улицах... У нее был адрес к знакомым, а в случае отказа можно было пойти в Дом колхозника или дешевенькую гостиницу, но это мало устраивало девушку — деньги надо было беречь. И она сразу отправилась по адресу, далеко от центра, почти на окраине, но по пути зашла в Дом колхозника и в гостиницу. Номеров ни там, ни тут не оказалось, все было переполнено. Она сразу ощутила какой-то неприятный вкус одиночества в чужом городе. Ей сказали, что Новосибирск загружен ссыльными и рабочими, приехавшими сюда искать новых мест и больших денег. Аля сразу вспомнила вокзал. Он имел вид какого-то цыганского табора: приезжие и ожидавшие билетов сидели на полу и в вокзальных залах, в багажном отделении, вплотную друг к другу на своих тюках или просто лежали на полу. Нудно плакали дети. И даже вне вокзала, сразу же по глубоким канавам, обрамлявшим улицы, за деревянными мостиками, прислонясь к стенам домов, сидели люди, не имевшие ночлега. Счастье, что сибирский сентябрь посылал исключительно теплые дни, вечера, как в тропиках, звездное небо, парной воздух. Аля шла, неся портплед и чемодан, думая об одном: завтра же разыскать по тюрьмам дядю Павла... — и молилась, чтобы Господь дал ей приют и ночлег в Новосибирске.

Знакомая, что должна была принять Алю, была уже выслана сюда год назад, она счастливо устроилась на окраине в рабочей квартире, но кроме нее и ее большого любимца-кота тут жило еще четыре человека, семья мастера сталелитейного цеха, и Алю встретили не то что недружелюбно и ворчливо, но с прямым недоумением — куда ее поместить? Теснота кругом.

— У нас беда, — сразу же пожаловалась ей хозяйка домика, — мало того, гражданочка, что мы не являемся уже владельцами этого домишки, а квартирантами... Да вы сядьте пока, давайте-ка

сюда чемодан! — и она усадила Алю на шаткий табурет. — За нами такая слежка! Ужасно... Вот вы к Валентине Кирилловне присланы по адресу, а чем может вам помочь эта тетя Валя? Сама-то временно прописана, больная, выслана сюда по делу красной профессуры — может быть, слышали? — она назвала фамилии. Аля помотала головой. — Ну да ладно, дело не в этом. А создалась-то у нас такая загвоздочка. Старший парень, Вовка, ему 14 всего, семилетку нынче кончал бы — возьми, да и объяви там в школе: я — нацист. Его забрали, потому что товарищи сразу же донесли, а теперь мурыжат, томят нас... И вы-то приехали, говорите, тоже по ссыльному делу? Ведь что ж получается?

В дверях показалась высокая седая женщина, за ней следом впрыгнул в дверь сибиряк-кот с необычайно пушистым, прямо лисьим хвостом.

— Вот это и есть к кому письмо прислано, тетя Валя наша, — добродушно говорила бывшая хозяйка дома. — А я — меня звать Васса Яковлевна. А вас? По имени-отчеству?

— Меня — Аля. И больше ничего не надо. Очень прошу... Меня никто еще полностью не называет.

— Так вот, это самое, Алечка. Как же мы будем с вами?

— Мне только бы ночлег, — говорила Аля. — Как-нибудь на недельку, другую. На полу, на лавке, все равно. А днем я буду уходить по делам. На рынке — молока куплю, какую-нибудь ватрушку. И хватит! Лишь бы крыша!

Алю поместили на полу, на сенничке, в комнате красной профессорши тети Вали, довольно апатично отнесшейся к приезжей гостье. Она бегло просмотрела письмо с просьбой приютить Алю и сказала ей:

— Что ж, размещайтесь. Кота не будете обижать?

Голова и руки профессорши тряслись. Дальнейшее ее поведение ясно показывало, что, кроме кота с лисьим хвостом, у нее не было ничего более дорогого, такого, чем бы она могла просто заинтересоваться. И когда Аля, напившись с дороги чаю, горячо и доверчиво рассказывала ей и Вассе Яковлевне о цели своего приезда, профессорша с такой же вялостью заметила, не углубляясь в мысль, а как бы скользя по ней:

— Трудно здесь будет вам его отыскать... — и начала из рук кормить своего кота.

Васса Яковлевна была решительна и энергична, про соседку свою сказала Але, что ее совсем «довели» и потому она «такая», что

от нее слова не добьешься, но она не вредная, а только словно бы «порешенная». И долго этим же вечером, когда Аля уместилась на сенничке, ароматно пахнувшем полынью, Васса в ответ на Алины признания рассказывала про свои дела, про мужнину работу, про горе с Вовкой — «ведь дурак, проведи с ним какой инструктаж — и выпусти! Что он понимает?» Аля сочувственно поддакивала ей, а сама засыпала, усталая от пятидневной дороги. В ответ Вассе Яковлевне говорила сонную несуразицу и проснулась только утром, когда континентальное солнце зайчиком играло на выбеленных стенах и добродушная Васса Яковлевна спрашивала, не кусали ли ее злодеи клопы, ползущие от печки?

Надо было сразу же действовать — начинать розыски! День так и заливало солнцем, так и брызгал лучами на ветхие мостки улиц и стены домиков, выбеленных как на Украине. Але казалось, что именно в такой золотистый день должна состояться встреча с дядей Павлом. Иначе быть не могло! Такое солнце, небольшой порыв ветра, слегка начинают пылиться давно не смоченные дождем улицы. Она пренебрегла автобусом, шла пешком и в целях экономии денег даже в пустяках, и для разгрузки силы накипающего волнения в груди. Ей указали дорогу — сначала будет центр города, а там, от главной по большой улице, два поворота налево и большой забор, за ним и есть домзак Западного распределителя... Шла Аля, как летела, — ног словно не было... Не крылья ли несли ее?

Центральная часть города поразила своими масштабами — и это так недавно еще бывшая рыбацкая слобода «Николаев». Удивлял прежде всего резкий переход от немощеных улиц к асфальту, нарядным витринам, золотым вывескам и, главное, многоэтажным домам. Эти высотные здания резким контрастом отделяли только что оставленную за собой часть старого города с его в две доски мостками, деревянными одноэтажными, изредка двухэтажными домами, палисадничками, где красовались две-три рябинки, черемушка и тополек, где за белыми кисейками занавесок уютно розовел бальзаминчик и махровая герань. А чего тут сто́ит одна гостиница! Какое нарядное представительное здание! Какие прутья на дверях, какой швейцар, еще молодой, но полный собственного достоинства стоит на страже! Так и кажется, что произнесет вам строго: «Мест нет!»

— Банк, — читала Аля. — Сберкасса. Служба связи. Ах, вот это сюда мне идти, направо от Ленинской, длинная улица, на углу — Гастроном.

Она бегло, переходя за угол, взметнула взор на макеты белорозового поросенка, на глянцевитые коричневые сосиски... Со вчерашнего дня — чай с булкой, остальное доедено в дороге. У Вассы Яковлевны столоваться нельзя и нечем, красной профессорше хватает только для себя и кота, и Алечке можно тратить на день, по ее расчету, для того, чтобы прожить здесь неделю, — пять рублей. Мама думала, что здесь можно достать дешевенькие обеды или варить картошку. То и другое сомнительно и проблематично. Особенно насчет варки — жалкие примусы Вассы Яковлевны, керосинка тети Вали с ободранной черной слюдой, плитка, топящаяся, смотря по обстоятельствам, раза два в неделю, стирка, подогревание обедов, приносимых с мужнина завода. Вот какие беглые мысли посетили Алю по пути в домзак после взгляда на витрину гастронома. Но не сбить им было крыльев за плечами, несущих ее к тюрьме.

Там — первое разочарование. Открылось окно справок. Перед вопрошающими жадными глазами девушки мужеподобный силуэт женщины в защитного цвета гимнастерке с оловянными пуговицами, тесным ремнем по поясу, отчего куртка морщилась в глубокую складку. В ответ на произнесенную фамилию — бдительный строгий взор и ответ, столь же сдержанно спокойный, сколь и равнодушный: «Нет у нас такого». И Аля отодвинулась, пропуская другого за справкой. Через несколько минут окно закрылось. Она вспомнила, что не спросила о других тюрьмах. Но уведомили посетители — тюрем еще две в городе, одна уголовницкая — исправдом, другая переселенческая, небольшая. Указали направление, куда идти... Настроение смятения и разочарования недолго владело Алей; попив воды из оловянной кружки, цепочкой приделанной к бачку, она снова так же бодро и легко отстучала каблучками указанное ей расстояние и достигла «уголовников». Его тут, конечно, нет, но спросить все же надо.

Уголовницкая находилась, как ни странно, недалеко от центра. Бывший гараж. Окна зарешечены. За ними — лица подростков. Здесь не то, что в домзаке распреда, как-то проще, откровеннее. За тамбуром дверей окно справок... И снова ответ: «Нет такого». Иного Аля и не ждала. Смешно было искать его в уголовниках. Она вышла и обогнула здание, направляясь дальше, в переселенческую. Ей вслед кричали из боковых окон. Подняла голову — молодежь, подростки. И вся их буйная компания кричит ей вслед: «Тетя, к кому приходила?» «Жрать хочем! Нам бы щей — вырви глаз!» — кричали

ей вслед подростки. Ускоряя шаги, Аля думала: «Бедные, есть хотят. И он — тоже! Скорее, скорее... найти его...»

В переселенческой, даже в столе справок — тесно, душно, пахнуло махоркой. Спит дневальный в углу на соломенной подстилке совсем по-домашнему. В окне ответили, как по заведенному — нет такой фамилии, но тут же заинтересовались приезжей девушкой, что ищет по тюрьмам своего родственника.

— В домзак ежедневно ходите — нет его сегодня, так завтра будет. А к нам что попусту ходить? Тут все колхозники. — Пожали только плечами на слова: «Из Ленинграда выслали две с половиной недели назад». — Если так, то он должен уж тут быть. Непременно.

С тем Аля и ушла. Дойдя до рынка, выпила там стакан молока и купила две шаньги с творогом. Скудная еда ее подбодрила, но не развеселила. Домой она вернулась к четырем часам дня — на рынке ничего больше не брала. Цены потрясающие — как тут жить в таком дорогом городе? Иное дело — плита, на картошке бы просидела на одной... на хлебе... Так размышляя, Аля добралась до своего пристанища, до узенькой, в пустырь уходящей улицы, носящей, однако, громкое название «Проспект ленинского комсомола». Села на кухне на табурет и повесила было голову... Не тут-то было! С воли донеслись крики и такие звуки, будто кто-то с силой хлопал о камни большой мокрой тряпкой. Что случилось?

— Окаянный! — кричала во всю ширь здоровой груди Васса Яковлевна. — Держи, держи его! Ваня! Катюша! Пособляй! Опять его мыть! В жиже искупался, непутевый! Холера его бери!

На дворике, куда выбежала Аля, картина была следующая. Вассины дети — Ваня, девяти лет и Катя, двенадцати лет, — оба недавно вернувшиеся из школы, загнали в угол огородника, стреножили, повалили на бок и еле удерживали руками верещавшего, грязного, как из ада, поросенка.

— Держите его, ребята! — кричала мать. — Ужо я тряпку, щетку! Вот я тебя, уродина!

Тут Аля забыла все утренние горести и бросилась помогать. Все смешалось в один общий порыв — Ваня придерживал, Катя орудовала сзади, а Васса Яковлевна и Аля помогали держать и мыли, скребли безумно визжавшее существо, макая ветошку и облезлую щетку в кадку с водой.

— Пустите, отойдите, я сама, — кричала Аля, ползая с тряпкой по земле около и мешавших, и помогавших ей рук. — Вот так!

Брюшко, теперь хвостик. До чего же грязный! Теперь все. Валите его на другой бочок. Да не брызгайте на меня! Ваня, правее держи. Пониже, пониже, Катя. Ох, тут к нему репья пристали. Все? Хватит. Чисто?

— Ножки ему надо сполоснуть, — резонно заметил Ваня, — копытца тоже, ох, и грязные.

— Держите его крепко все, я за чистой схожу, — и Васса Яковлевна встала с колен.

После душа и последних деталей обработки поросенок вновь приобрел свой обычный бело-розовый вид. Ему дали поесть и загнали под навес, на солому, решив хоть на один вечерок не выпускать его пастись по канавам. Отполоскали тряпки, подмели дорожку, вымыли кадушку. Возня и общие усилия распылили Алину скуку и даже подняли настроение. Сели обедать, позвали Алю. Та вежливо отказалась.

— Ты нам какую же помощь оказала, — говорила Васса Яковлевна, наливая ей гороху и кладя ломоть хлеба. — Каждую неделю мажется, хоть взаперти его держи. Теперь на сколько-нибудь обеспечили. Вань, сходи, погляди, не остыл ли? Все ли сожрал, что дадено?

Ваня пошел, вернулся и доложил матери:

— Спит. Кадушку опрокинул. Стал что твой человек.

Отец Александр

Вместо одной, как предполагалось, Аля доживала в Новосибирске вторую неделю. Она берегла деньги, сколько возможно, ограничивала себя едой и мучила себя ежедневной ходьбой в домзак. Дяди Павла все не оказывалось. Ежедневно называла его фамилию, простояв в ожидании у окошечка, и уходила, услышав ответ: «Нет такого». Дома, у Вассы Яковлевны, Аля помогала ей, чем могла — мыла полы вечером, стирала кое-что тете Вале, штопала ей чулки... Апатичная старушка днями сидела у окна без всякой работы, как бы не принадлежала жизни. Деньги за ночлег и приют Али ее тоже как-то мало интересовали. Вот еще бюджет кота причинял ей кое-какие хлопоты, но и то не она ходила в лавку. И рыбу, и мясо коту, и еду для нее, тети Вали, приносили или дети, или сама Васса Яковлевна, да зачастую она же и готовила ей, сожалея о положении полуглухой, психически потрясенной старухи. Иной раз прочтет, пробежит глазами страницу в «Правде» тетя Валя,

погладит кота, чашку, блюдце за собой вымоет — и все. Ее апатичность раздражала Алю, и она нет-нет да и посоветует старухе выйти погулять или оставить в покое одуревшего и уставшего от ее ласк кота. На все такие замечания красная профессорша не сердилась, но и не выходила из своего равнодушного состояния. Посмотрит на Алю сбоку из-под очков и скажет ей, как бы нехотя, с трудом выдавливая слова: «Я уже свое отгуляла».

— Дни какие прекрасные! Надо пользоваться, — не унималась Аля.

— Ну и пользуйся... Иди гуляй... Твое дело.

После каждого такого пререкания Аля с грустью думала о дяде. Если она, тетя Валя, стала такая, просидев там всего полгода, то каким же она увидит батюшку. Невыносимая тоска обнимала сердце. Ее дни шли и проходили в постоянном труде не для него, а для чужих, дававших ей приют и ночлег. За свои услуги она получала то тарелку супа, то обед, и была более менее сыта. К концу второй недели ее приезда погожие дни убывали. Насколько пленительны и по-южному теплы, даже знойны, стояли дни и вечера, настолько утренники напоминали о близкой зиме — полынь по канавам блестела серебром, рытвины дорог затвердевали под инеем. При ярких утренних зорях перепадали крепкие морозцы — осенним дождям не место в Сибири. Туманная, сиревато-розовая Обь, казалось, сейчас застынет в своей стальной утренней неподвижности. Терпение Али вот-вот не то лопнет, не то разорвется надвое. Нет и нет в Новосибирске батюшки. Когда она по утрам ходила в домзак, все еще надеясь на его приезд, то, проходя по центральной части города, сознавала, что каким-то абсурдом было бы его пребывание здесь, вблизи роскошного ресторана и гостиницы, вблизи гигантского комбайна. И даже окраинные улицы с заборами из крепкого теса и крепко пошитыми домиками — как-то ему не подходили. Куда идти? Где его искать? И куда поместить? Аля благодарила Бога, что не сидит, подобно многим, в полынной канаве на своем сундучке и портпледе. Тюрьмы ею все обойдены, каждое утро звучит «такого нет». И вместо того, чтобы обогревать, поддерживать своего родного, она поит инвалидку-старуху, шпарит клопов, чтобы обеспечить и себе и другим покойную ночь, намывает полы и, наконец, по вечерам уходит на воздух, на волю, думая все об одном — «где же он?» Если заболел, значит, сняли с поезда, лежит в больнице — не то в Омске, не то еще где-нибудь. И она не знает ничего о нем. Тоскующие силы, мечта о подвиге, о встрече с ним

метались в какой-то тесной клетке. Западный распределитель — не ошибка ли, не мираж ли какой? Не проехал ли он дальше?

В городе оставалась одна церковь, но участь ее висела на волоске. Туда-то, по одним отзывам людей о добром, «совсем святом» священнике отце Александре, и направилась Алечка. Если она все же дождется здесь в Новосибирске отца Павла, то не примет ли его к себе свой же брат-священник. Она стояла перед приветливым домиком, увитым плющом и диким виноградом. Он выходил стеклянной галерейкой на церковный двор. Плитняк дворика, вьющаяся зелень, дорожка к дверям, густо заросшая мятой, подорожником и цикорием, напомнили Россию, провинцию. Что это за неведомая страна, в которую он попал? Что за город? Небоскребы в центре, широкая Обь с баржами и пароходами — и такие дворики.

Как хорошо бы ему отдохнуть здесь хоть недельку. Она поднялась по ступенькам, долго нащупывала звонок, просунув руку в зелень вьющихся растений и не находила его. Постучала. Кто-то выглянул в окошко и храбро раскрыл дверь. Перед Алей стоял высокий, рыжеватый, казацкого вида человек, напоминавший ей диакона Ахиллу из «Соборян». Он оказался действительно диакон небольшой здешней церкви с низкими, округлыми ступенями паперти, узкими готического вида окнами. По размеру это была большая часовня, венчавшая собой уютный дворик церковного дома и сарайчик, до отказа набитый дровами.

Большая веснушчатая ладонь диакона вытащила из зелени грушку звонка на шнурке.

— Потаенно прячем, матушка у нас очень больная, при смерти даже лежит, — объяснил он Алечке. — А то люди трезвонят даже. Ежели к отцу Александру, то просим два раза звонить, ко мне, грешному, разок, на разных мы половинах живем, квартира большая, а матушка больная при нем, в его кабинете находится, без надежды лежит... Извольте, я вас к нему проведу...

— Обеспокою батюшку. Лучше, может, в другой раз? — спросила Аля.

— Всех и вся и во все дни и часы приемлет, — возразил диакон. — Такой человек уж... Сами увидите! — и он стукнул два раза в дверь, задернутую штофной портьерой.

При виде отца Александра, быстро поднявшегося с дивана, где он лежал или, вернее, сидел, скорчившись и положив ноги на стул, Але не только показалось, а прямо удостоверилось, что она где-то, но непременно видела это лицо, что она с ним давно

знакома и почему-то медлила, так долго живя в городе и не идя к нему. Она сразу без обиняков рассказала ему свое положение в Новосибирске, поиски отца Павла, тщетные ожидания его приезда. Она просила его совета — как ей быть? Как уехать домой ни с чем, не узнав, где он? Но при первых же сочувственных вопросах настоятеля о дяде Павле, о сроке заключения в Ленинграде, Аля вдруг не выдержала. Утомленная бесплодными поисками, ходьбой по тюрьмам, мыслями о положении дяди, она горько зарыдала. Слезы будто искали выхода, полились потоками. Хотела сдержаться, взять себя в руки — не тут-то было — плотина прорвалась...

— Вы меня простите, батюшка, не могу я больше... плачу.

— И плачьте, моя миленькая, и плачьте, — был его ответ. — Как же вам не плакать? Такое дело. Понятно, что вы плачете.

От немудреных слов в опечаленную душу повеяло святостью Неба. Все сверхчеловеческое, небесное, весь Горний мир с его помощью заключался в этот момент в разрешении на слезы. Она не услышала здесь обычных слов «не унывайте, возьмите себя в руки, грех отчаиваться». Он сказал ей — «плачьте». И она плакала без стеснения, от души, освобождаясь и облегчаясь от душевного груза.

А отец Александр усиленно думал о чем-то, вытирая платком лоб.

— Сейчас мы с вами о всем поразмыслим, — проговорил он. — Боюсь, что вам не устроиться здесь, буде вы его и найдете. Квартира у меня поместительная, тут нас двое жило священников, да и диакон нынешний, да все с женами, и трое ребят. Места хватит, я бы вам хорошие комнаты отдал, но люди-то мы теперь какие? Ненадежные. Не сегодня, так завтра и меня туда же, куда и всех. Всякую ночь жду. День прошел и ладно. Матушка моя плохонькая, не придется ли ее в последние дни на людей оставлять? Да и на каких? Диакона ведь тоже не помилуют, комнаты пустовать не станут. В больницу таких, как она, не кладут. Да, уж истинно — «ин — берется, ин — оставляется». Только вот что думается мне об отце Павле — не пересдали ли его в Восточный распред, в Иркутск? Что-то не слышно про священников через Западный распред. Из Восточного же их прямо в села, по назначению. Ангара, ее окрестности — их нынешняя родина, а из Новосибирска куда пойдешь? Обью? Да Обь-то и так вся загружена и застроена, и обрабатывают ее с берегов бесчисленное количество выселенцев и рабочих. А что вам в Ленинграде сказали про Западный распределитель — ничего не значит. Переправили ошибочно помеченную бумажку — и только. Мой вам дружеский совет — есть ли у вас кто в

Иркутске? Ну и прекрасно. Немедленно туда телеграмму с запросом, там ли он? Пусть справятся в домзаке и вам срочно ответ... Как быть с его вещами, что идут малой скоростью? Вот вопрос.

— Да... вопрос... какая ошибка эта малая скорость, — вздыхает Алечка.

— Ошибка? — повторил отец Александр. — Для Промысла, может, и не ошибка. А так нужно для замедления ли какого, терпения ли? Поживем, увидим. Значит, так мы решаем с вами: до ответа на ваш запрос — ждем. Если он там — сразу идите ко мне, и буде я не у них, а на воле, беру от вас квитанцию, у меня есть надежный, честный рабочий. Срочно, в тот же день, ибо дни лукавы суть, передаю ему квитанцию на вещи с вашей доверенностью, и он вам перешлет все по месту вашего пребывания. Но если буду взят — не смогу услужить в вашем деле — токмо молитвой.

— Этот знакомый рабочий тоже ссыльный?

— Тут не ссыльных почти нет. Есть два сорта людей в Новосибирске: инженеры, строители комбайнов, управители небоскребов — коммерсанты, всякие дельцы, начальники, евреи-тузы, что ворочают предприятиями. А те, кто на них работает, почти все ссыльные, из давно здесь живущих не ссыльных — мало.

В тот же день вечером, после встречи с отцом Александром, Аля дала телеграмму своей родственнице, крестнице отца, в Иркутск. Ответ пришел к следующему вечеру, часов в пять: родственница успела побывать в справочном бюро иркутского домзака и сообщала Але: «Здесь. Вези масла. Лиза».

Трудности с билетом, так как люди на вокзалах и горстанции ожидали его по неделям, были улажены тем же отцом Александром через его знакомого, который взял и квитанцию на вещи с обязательством сразу же препроводить их по сообщенному адресу за небольшую денежную компенсацию. Аля не знала, как благодарить отца Александра. Последний раз увидела она его в маленькой церкви перед своим отъездом в Иркутск. Шла всенощная под праздник Рождества Богородицы. Участь храма должна была решиться вот-вот на днях, а сейчас мягко, лучисто и ярко горели две лампады. Во время канона Аля подошла к отцу Александру. Взглянула — и в первый момент не узнала его. Так строго и торжественно-чинно стоял он перед ней. Блестела митра, сияла риза, и все его благообразное лицо излучало свет и радость. Обильно помазывая ее лоб, он шепнул:

— В путь добрый. Молитесь за нас.

Снова поникшие было крылья развернулись во всю ширь для полета. Аля, не достояв службы, поспешила домой: надо было сложить вещи, проститься со всеми своими знакомыми — и на вокзал. Поезд в Иркутск отходил около одиннадцати часов вечера.

Иркутск

Снова платформа незнакомого города. Двое суток пути истомили Алю, закружили голову. Выйдя из вагона, она оглянулась по сторонам и боялась, что не узнает в толпе своей родственницы Лизы. Видела она ее лет пять назад подростком. Оказалось, что и Лиза, — она была лет на восемь старше Али, — тоже опасалась, что мимо нее пройдет девочка, чудесно подбрасывавшая мяч на даче, еще в Пскове, где жила и Лиза. Но вот девушка в голубом шарфике стала внимательно вглядываться в женщину с черной кружевной косынкой на голове, стоявшую у входа в багажное отделение, и тоже пристально следившую за каждым проходящим. И наконец, обе разом закричали: «Аля! Ты?» — «Лиза! Ты?» — двинулись навстречу друг дружке, причем Лиза потянула к себе Алин чемодан, а та не отдавала, и сразу же поспешили к выходу.

Лизин облик Аля уяснила и представляла себе ее по письмам к матери. Очень живые, подробные (писала она как говорила), эти письма знакомили Марью Петровну как бы моментальными фотографиями с ее бытом, хозяйством, нуждами. Писала она и про больного инвалида-мужа, про цены на базаре, курочек, про свою изворотливость. Не лишенные юмора, всегда добродушные, заботливые, эти листки в семье читались вслух. Лиза писала так жене своего крестного потому, что он был хороший домовод, любил крестницу, как дочь, и интересовался ее жизнью. Он сам незадолго до кончины нашел ей жениха из чиновничьих дворян в Пскове и помог с приданым. Когда отец Али умер, то письма Лизы стали чаще относиться к ней, между ними родилась некая письменная симпатия, но все же, читая Лизины живые и яркие листки, Аля никак не думала, что увидит далекую свою крестную сестру так скоро и пойдет рука об руку с ней по извилистой Вокзальной к Ангарскому мосту.

Сияющий осенний день. Река встретила Алю стальным простором и рокочущим шумом.

— Видишь, какая у нас красавица, не хуже Невы, — хвастала Лиза. — Это, я тебе скажу, такая река! Вот бьется, бьется, как

живое сердце! А широкая! Гляди — ширина! Здесь, пожалуй, шире Невы будет. А глубина! Пропастина! Воронки в ней — смерть... Замерзает не сверху, как у вас, а снизу, не так, как русские реки.

Но Алю интересовало другое.

— Где же здесь тюрьма? Расскажи, ты его видела? Лично? Как?

Лиза указала Але на недалекий с виду горный кряж. Отроги Байкальского хребта еще рисовались в розовой дали. Полузримые воздушные очертания холмов в озарении утреннего солнца венчались как бы зубцами золотой короны...

— Там? Это там? — волновалась Аля.

— Ну, понятно, там, где же ему быть? Всех своих гостей в именины бросила, приемный день был, смоталась туда по твоей телеграмме. Калач ему купила, конфеток... Передали... Здесь он, оказывается, уже две недели. А ты там его искала? Их скоро ушлют. Меня-то к нему не пустили. Да и ладно! «Вы кто такая? Откуда?» Я им говорю: «Никакая я ему... Племянница, вот та приедет». А сама — дырк оттуда! Страшно, голубчик. Попадешь — не вернешься. Идти надо туда, ну, да я тебя провожу разок, так и быть, через речушку Ушаковку. Так себе речушка, лужа пересохшая... Горы-то, Аля, погляди на наши горы!

— Лизочка, спасибо за все, спасибо!

Больше Аля сказать ничего не могла. Дядя, ее сокровище, он там, он здесь, в розовых лучах солнца, в чуть уловимых туманных зубцах Байкальского кряжа. Но он же и в тюрьме, в остроге. Как это может быть? Связаться вместе?

— Там-то и тюрьма, милочка, — говорила Лиза. — Они ее в розовую краску отделали, аккурат цвет нежной любви — прямо дворец стоит, если кто не знает, а погляди-ка сверху, Аля, над тюрьмой, на валу, где горы, бурятский могильничек... Вид отсюда — картина!

Она внимательно взглянула на Алю, та молчала, думая о своем.

— Ты так мучишься за дядю, Алечка. А он крестному-то, отцу Федору как приходится? Что-то я этого отца Павла не припомню. Хороший? Ну, да ясно, все они хорошие...

— Эта река, — говорила Аля, — какая-то, как в сказке. И все здесь — не факт, не реальность, а что-то такое, что всегда было и будет, вовек не исчезнет, но всегда не уловить, а тюрьма — это все призрак, сон.

— Ну да, сон! Вот дак — сон! Как инженера нашего Погодина потащили — визгу было, реву было. С ног сбились. Его женка в

обмороке лежала. Вот дак — призрак! За мной послали. А я, Алечка, всегда я должна, на всех... Почему так, все я, да я? Иди сюда, сделай то-то... А люди берут, да когда ты нужна. Вот и ты приехала, да на такое дело. Ты не обидься, я по родству. Ты откликнулась, поехала. А кто спасибо скажет? А? Говоришь «не за спасибо» приехала? Ну, да ладно, приехала. Лиза рада от души. В кино пойдем? Не хочешь? — Аля молчала.

— Ладно уж, передачу снесем, — утешала ее Лиза. — Твое сердце успокоится... Поворчать люблю — такой характер, а сделаю, что могу. Вот хочу быть эгоисткой, а не выходит. А надо. Прокормиться-то как? Картошки малость, да бочка селедок с душком. Ваня мой лежит-полеживает, порок сердца в последней степени. А у меня, Алечка, поверь, увидишь, сразу сердце разорвется, все клапаны — и болезни не надо. Помоги нет. Одна все. Пенсия маленькая...

Такое вступление в Лизину жизнь не могло ни ободрить, ни утешить. Приходилось быть людям в тягость. Алины деньги были на исходе — только бы хватило на передачи...

Лизино жилище — это была хибарочка, домик в две комнаты с сенцами, их разделившими, с подпольем, как почти во всех сибирских домах. В сенцах сразу ощутился недостаток времени для уборки... И с первого взгляда нельзя было предположить той хозяйственности и домовитости, какая представлялась при чтении Лизиных писем.

Навстречу жене и гостье вышел, с трудом передвигая глянцевитыми толстыми ступнями в войлочных шлепанцах, маленький, нестарый, но уже седеющий человечек с розово-сизыми щеками и синим носиком. Он сразу же закивал и заулыбался Але.

— Ты что же, Ваня, помоев не мог вынести? — обрушилась на него Лиза. — Как себе еду разогреть, так у тебя не сердце, как ведро на помойку, так у него сейчас же сердце... Сливай в ведро и неси.

— Сейчас вынесу, — кротко сказал было маленький человечек, но молодые, сильные руки сразу же взялись за дело.

— Покажи, куда нести? Направо, налево?

— Это он при тебе кроткий, — пояснила Лиза, когда Аля вернулась. — Без тебя заворчал бы: «Что я тебе, холуй бесплатный, тебе двенадцать мальчиков что-ли надо?» Ох, крестный, знал бы ты мою жизнь! — приговаривала, а руки, привычные ко всему, делали, подметали, растопляли плитку — через полчаса все пили кофе, а Ивану Александровичу был налит в чашку брюквенный

отвар. Алины симпатии сразу склонились к больному, молчаливому и сдержанному дяде Ване. Он старался, хоть и неудачно, хоть и возмущая покой жены, вносить свою лепту труда, но это ему трудно давалось. Лиза же все время беспокоила жалобами на жизнь, на эгоизм людей, и Але становилось и нудно, и неудобно, хуже, чем в Новосибирске, где она жила свободно и просто у совсем чужих. Она сразу сознала, что придется стеснять людей, особенно при своих скудных, убывающих, что ни день, средствах, но радость найти дядю, ему послужить, поддержать его погашала все неудобства. Все же здесь она была не одна, рядом с ней — добрая душа. Та, что знала ее ребенком, а теперь увидела ее в таких переживаниях и тревогах. Она ворчит и, очевидно, будет ворчать на безденежье, на болезнь мужа, на незнакомого ей дядю Павла, которому вовлеклась в помощь, несмотря на то, что решает быть эгоисткой, хотя бы с завтрашнего дня. И все же она, уложив Алю отдохнуть с дороги на часок-другой, спешит на рынок, чтобы купить необходимого для первой передачи. А придя домой, сразу растапливает плиту, ставит пресное тесно для пирожков: «Сегодня наскоро, Алечка, как следует передачу — потом! Лишь бы успеть», — ободряет она приезжую гостью. Передачи на некоторые посты, в том числе и на двенадцатый, где находится отец Павел, принимались в этот день с часу до трех. Продукты принимались довольно широко, без точной ограниченности. Ежедневно с часу дня и даже раньше сюда спешили люди с корзинками и узелками. Четко поскрипывал под шагами деревянный горбатый мост через мелководную Ушаковку, крутясь и засыпая глаза, взвивалась на пути белая пыль, явление неизбежное и неприятное во время зноя. Насчет опоздания было строго.

Когда Лиза и Аля подошли к тюрьме, то несколько женщин уже толпились у входной двери с передачами. Они смело и настойчиво препирались с дежурным: «Пусти, родимый». — «Тебе куда? — На второй? — Передачи нет, гляди вывеску... завтра с часу... На четвертый? Жди четырех, с четырех до шести. Отойди за мост, здесь не толпись. Кто на десятый—двенадцатый — входи сейчас... Поздно вот приходите, гражданки! — обратился он к Лизе. — Немножко — и не пустил бы вас. Надо пораньше».

Алины пальцы дрожали на салфетке, покрывавшей плетеную корзиночку. Она забыла и дорогу, и усталость — лишь бы передать и спросить относительно свидания. Сегодня было уже поздно — встречи разрешались до двух дня. Она опасливо озиралась на Лизу — у той

в руках тоже был маленький узелок, а лицо выражало готовность к бою с любым постовым.

— Нам в больницу передачу, — так начала Лиза. — К инженеру Погодину. Каждый день от жены ношу ему передачи. Сама-то не может — помирает от горя. Ну, а меня, такую дуру, и урезонили — «носи»! И ношу, как идиотка!

Постовой слегка повел плечами.

— Ваше личное дело, гражданка...

— И нисколько не личное... Детей с ним не крестила. От вас бы подальше...

Их, наконец, пустили за вторую дверь, где за столом сидел дежурный и отмечал по спискам фамилии получавших передачи. Лиза спросила о здоровье Погодина, он предложил обождать — сейчас придет фельдшер, осмотрит принесенные продукты.

— Видишь, Алечка, — шептала Лиза, поставив узелок на скамью и роясь в нем. Главное попасть внутрь. Мы с тобой и попали. Погодин — большой человек, хоть и сидит. Сейчас все про него узнаем. А завтра таким же способом пораньше сюда — пропустят! Увидишь дядю, Алечка! Молись Богу.

Их сразу пришло двое: фельдшер в новом халате из нестиранной бязи с широкими карманами и рассыльный передач, бледный арестант. Фельдшер лениво и привычно запустил руку в Лизин узелок: «Что у вас там?»

— Не знала, что принесть! — затараторила Лиза. — Омулек вот вяленый, луку две штучки. Булочка, огурчик... ах, вот еще пирожок.

— Все готово, можно несть? — подоспел «бледный». — А эта корзинка — тоже ему?

— Да вот, вторая-то... раз уж вы такие добрые... — и она ловко сунула ему в руку трехрублевку. — Нельзя ли заодно узнать, где у вас находится? И можно ли завтра к нему пропустить на свидание племянницу его из Ленинграда? — При этих словах Лиза обернулась к дежурному за столом, называя фамилию отца Павла.

— Справок сегодня не даем, раз не знаете его поста. Завтра придете...

— Завтра туда нет приема. Сегодня справьтесь.

Он бегло взглянул в список:

— Никакого священника у нас нет.

Но Лиза не отставала.

— Извините, гражданин, я знаю так бывает — словно и нет, а

потом объявится, что есть. Недели нет, как я о нем здесь же узнавала — был на двенадцатом посту.

— Так бы и говорила. Значит он был на двенадцатом, — а вы молчите... Ну вот, его перевели теперь на десятый... Давайте передачу, закрываем. Надо приходить с передачами раньше...

Бледный рассыльный, сидевший с отцом Павлом на одном посту, не проронил во время разговора ни слова. Был вымуштрован. Не он дает справки. Взял обе передачи и исчез за дверью.

Передача

Снова отец Павел держал тщательно увязанную корзиночку в дрожащих руках. Откуда? Кто о нем заботится? Кто мог сюда приехать? Помимо всяких разумных доводов, отвергающих и лживую мечту, помимо всякого — не может быть — «Нина» — остро подумал он. Но пересмотрев список присланного, в углу бумажки обнаружил слова: «Хлопочу свидание. Аля». Так вот, кто здесь в городе, с ним... Разноречивость своих же чувств потрясла его — это она, его любящая, бунтарская, своенравная Аля! Как надумала? У кого остановилась? Был взволнован, тронут, но — рад и не рад. Нервно, болезненно переживал ее приезд. Оставила работу, мать и бросилась сюда... К чему? Не завтра, так на днях его ушлют. Как решилась? Такая дорога... Осилить Алин приезд в радости и покое он никак не мог. В нем сразу родился тот несуразный, ни с чем не считающийся протест, воюющий против всего, что втягивало его снова в ту жизнь, от которой он планомерно отходил. Все, что вызывало его в область погасших и обезболенных чувств, — раздражало нервы и отнимало минимальный покой души и тела, приобретаемый лежанием на койке, постоянным, почти теперь дремотным состоянием... И под впечатлением полученной передачи он думал то о Нине, которая не могла тут быть, то об Але, что приехала сюда так неожиданно и, как ему казалось, несуразно. Наконец он повернулся к стене и замер, натянув на плечи колючее одеяло.

Вечером притихло в камере. Кто дремал, кто играл в шашки. Дневной шум исчез, как по уговору, и тихо было на посту десятом. Ждали, что ни день, извещения об отправке выселенцев. Говорили об Ангаре, кончающей на днях судоходство, и о трудном пути на Тулун-Братск, и снова замолкали — только слышно было постукивание шашек и отдельные фразы.

Отцу Павлу нездоровилось. Грузные ноги мешали при малейшем передвижении, одышка и кашель не давали съесть лишнего кусочка, выпить глотка воды. Он невольно беспокоился о последнем трудном пути... А ну, как их поведут на Тулун, да еще пешком, как болтали некоторые? Скорее бы до цели, в сибирское село — там лечь, отдохнуть, совсем не двигаться. Он мечтал отдать все, что пришлет ему Нина, тем людям, где поселится, за радушие к нему, такому слабому. Себе — только Евангелие, крест, епитрахиль, скуфейку — по письму он знал, что эти вещи в пути... В такт его настроению кто-то в камере запел приятным тенорочком, кто-то сейчас же подхватил с другого угла и понеслось унылое, вековое:

Динь-дон! Динь-дон! Слышен звон кандальный,
Динь-дон! Динь-дон! Путь сибирский дальний...

Пели долго, подсвистывая, то еле слышно выводя мелодию, то внезапно ее повышая. День угасал. Отец Павел потихонечку поднялся с койки. Разложил калач, пирожки и конфеты с сахаром по порциям, по числу людей в камере. Молоко же, масло и помидоры были им сразу же, днем, отданы нескольким уголовникам, не имеющим родни, а также бледному рассыльному... Кусочки калача, пирожков и сладкого ровненько лежали на газете, как на подносе. Он обошел всех, прося его не обидеть и отведать его гостинца. Так добродушен был его вид, в старом подряснике без креста на груди, столько внимания и любви излучалось из его глаз и так дружелюбно были протянуты ко всем руки со скромным угощением, что никто не смеялся, принимая один за другим свою долю, а бухгалтер, свистя астматической одышкой, смущенно сказал: «Кушали бы сами, нас всех не накормишь... отощали ведь как...»

Свидание

На двенадцатом и десятом постах ждали передач и свиданий. Наступило обеденное время. До слуха отца Павла доносились разговоры, вернее, он улавливал, впадая в дрему, какие-то обрывки фраз. Кто-то рассказывал тюремные новости — кого-то перевели с поста на пост, уголовник Мокеев объелся или отравился и отправлен в больницу... Под людской говор он основательно погрузился в дрему, всего на какие-то минуты, как это часто с ним бывало за последнее время, в томительно теку-

щие дни перед конечным этапом. Всегда довольно полный, сейчас он исхудал до предела, только ноги его мучили своим ненормально отекшим видом. Но даже здесь, в окружении мало подобных «настоящим человекам», случалось нечто странное. Не страх и не равнодушие встречал его вид, а какая-то кроткая робость отражалась на одном, либо другом лице. Когда он малопокорными ногами проходил по камере своего поста к своей койке, минуя встречных, или, задыхаясь, подметал полынным веником блошливый пол, чья-то рука с грубоватой жалостью выхватывала у него веник, и он, внезапно освобожденный, глядел на помощника благодарными глазами, а потом садился на койку и закашливался надоедливыми, отрывистыми толчками, обессиленный, потный.

— Поп, на, выпей горячего, на тебе бублик! — Это был бледный арестант, носивший передачи. Он нередко удружал своему соседу по койке, а потом полувызывающе, полусмущенно вытворялся перед камерой: «Думаешь, братва, я ему зря даю? Он, братцы мои, такой уж человек. Из ада в рай душу вызволит. Мне-то на руку. Еще как». Смеялись все, да и он — веселей всех, но глаза его не смеялись — оставались беспокойными и грустными.

Кто-то с порога выкликнул фамилию отца Павла. Сон сразу оборвался, да и притом сосед тормошил его за плечи. Он с трудом поднял голову, поднялся на правый локоть и сел на койке, спуская ноги.

Голос сердито кричал за дверью:

— Сколько раз повещать. Айда вниз. Свиданка. — И еще раз по фамилии с грозным «поторопись».

Задыхаясь от нагибания вниз, он занялся ловлей шнурков, продетых в дырочки старых, разрезанных по подъему шлепанцев. Шнурки вьюнами ускользали из его дрожащих рук. Ему на счастье помог тот же бледный арестант. Наконец, отец Павел вышел в коридор. Пройдя его, спустился по лестнице, и наконец, пустая зала с несколькими стульями.

Восковой бледности рука отца Павла лежала на груди, придерживая толчки перебоя — когда же конец? Но постовой провел его еще одним переходом, щелкнул ключом в двери и пропустил вперед со словами: «Занимай второе окно». Это была комната для свиданий, просторная, с тремя окнами в дощатых перегородках, без решеток и стекол. Окно позволяло видеть всего человека, идущего от дверей, во весь рост, и его же немного ниже пояса, когда он

занимал в нем место для свиданий. Два окошка были уже заняты ожидавшими. Свидания здесь давали сроком на полчаса, посетителей еще не впускали, и отец Павел, заняв свое окно, так и вонзился взглядом во входную дверь. Щелкнул ключ, она широко распахнулась, пропуская людей с узелками и корзинками, и девушка с голубым шарфиком на голове, с большой корзинкой в руках, как светлое видение, метнулась ко второму окну.

Первую минуту слова не шли. Они стояли почти вплотную, так близко, что Аля могла слышать толчки его сердца, прикоснуться к руке. Но она только вглядывалась в него и шептала сквозь слезы:

— Батюшка мой! Мой батюшка!

— Ты как сюда? — глухо, через сухое горло, наконец-то выговорил он. — Такая даль... и решилась...

Она узнала бы его всегда и всюду. Будь он не в своей, другой одежде. Здесь ли, на улице ли? Все равно. Его лоб, бородка, черты... он, и вместе с тем — другой. Уменьшен в своем объеме, углы плеч и очертания ключиц выдвинуты вперед, и его лицо — совсем уже ново и странно для нее — покрыто желтоватой бледностью, губы и крылья носа сини, глаза, прежде блестящие, тусклы, обесцвечены — и отчего он все время кашляет?

Все еще неясно осознавая очевидность, но входя по-юному быстро в новое положение, Аля заботливо спросила его:

— Отчего ты так кашляешь? Простудился?

Он поднял на нее в упор тускловатые глаза, потом перевел их, как ей показалось, на большую муху, ползущую по перегородке, и как бы вскользь, как говорят не хотящие огласить секрета, он выронил слова, подобно людям, внезапно не удержавших в руках предмет:

— Умучен я, Алечка.

Дорога, болезни, недоедание — вот о чем подумала она и опрометчиво, не в такт значимости услышанного, спросила его:

— Чем же, дядя Павел? Трудно было в дороге?

Он как бы очнулся.

— Нет, это так только, Аля... не беспокойся. Все уже прошло. Теперь лишь бы доехать до места.

— Тебе поклоны, приветы, — торопилась Аля. — Все помнят, любят, молятся — она перечисляла фамилии, передавала слова участия и пожеланий, но все это доходило до него как-то смутно. Он слушал ее, даже силясь улыбнуться, но она сознавала, что говорит не то, что надо, и не так, как надо...

Плотина прорвалась в какой-то миг. Из его глаз выкатились как бы освобожденные от тисков первые слезы, за ними, торопясь, побежали следующие, целый ручей. Он поискал платок, забытый в спешке, Аля дала ему свой, он взял, но стоял в каком-то оцепенении, держа платок, не пользуясь им.

— Нина? — отрывисто выговорил он... — Мама? Здоровы?

Она поспешила его успокоить, протянула пачку писем, и, все больше входя в его новое положение, понимала, что для общей легкости говорить надо ей — минуты летели, медлить было нельзя.

— Батюшка, — сдерживая слезы, двинулась она к нему, — вот тут у меня... пакетик... лекарства... Ты так кашляешь, простудился, ты все тут разберешь, все надписано... Мы с тетей Ниной собирали, и вот еще тебе письмо от нее «в собственные руки», спрячь, спрячь подальше, вот — на грудь, в карман, так. Ну, что же еще? Тут булки, варенье — не забудь! Здесь сгущенное молоко, сыр... яйца, пирожки домашние... здесь тебе конверты, марки...

Корзина была в его руках, за перегородкой — время истекало. Военные у дверей не смотрели на них. Аля протянула к нему ладони и шепнула: «Благослови!». Он сразу же, не боясь окружающих, благословил ее. Она покрыла поцелуями отданные ей во власть руки, еще раз подняла на него глаза и внезапно, будто ее оттолкнули, отступила от окошечка. Он и не заметил того...

Но не бледность, не истощение человека заставили ее отойти. Знакомый с малых лет вид страдания и томления во всей силе восстал перед ней. Вздувшиеся синие жилки, как и минуту назад, дрожали на его висках; страшная картина не была вполне ясна для определенной мысли, но ярка и очевидна для горевавшего сердца.

За перегородкой стоял не дядя Павел, а Другой Человек, моложе его. Не стало тысячелетий, все — как тогда. Грубая бечевка не опутала ли Его бледную руку? На лбу, вместо капель пота, по щекам, вместо слез, не потекли ли кровяные струйки? Уста Этого Человека не шепчут ли ей о Любви, о Кресте и о Небе?

Какие-то секунды всего... и снова за перегородкой кашляет отец Павел, ее батюшка, ее дядя... И Аля самозабвенно, торопливо твердит ему, как в бреду:

— Поеду с тобой. Не оставлю, не брошу. Пусть все не могут, пусть... А я? Куда ты, туда и я. В село ли, в тайгу... Конечно, еду!

— Безумно, что ты говоришь, Аля!

— Да почему, да почему? Сказала — еду и кончено. Разве ты не хочешь, не рад мне?

— Рад, Алечка, как ты можешь это? Но — даль... путь...

Он волновался, но Алины слова в какой-то миг возвратили ему возможность говорить более связно и четко.

— Ведь... слышала... тропинки такие узкие, что люди в одном месте там идут в одиночку, идут над обрывами. Говорили, что нас повезут по одному человеку, на лошади... ее под уздцы... Или повозки длиннее, как гробы, я недавно слышал. Сто верст от Братска, глушь, тайга. Ну куда тебе? А служба? А мама? Не говори, не слушаю такого вздора.

Но Аля неслась, как на крыльях.

— Ничего там не пропасти, ничего не обрывы. Пугают только. Там хороший климат, лучше нашего. Ты поправишься, окрепнешь. Я буду работать, готовить, стирать, тебе читать вслух. На службу устроюсь. Отбудешь срок — вернемся вместе домой. Может — амнистия?

— Мой срок — до конца жизни, Аля, — его голос снова упал. — Выдумала! Безумие!

— Сразу и не поеду, — решила Аля. — Жду твоих вещей у тети Лизы. Придут вещи — я за тобой.

— Река, — сказал он вскользь, — река замерзнет.

— А пускай ее мерзнет. Я — сухим путем.

— Аля, морозы... Сибирь. Ведь я... я сам не знаю, как доберусь... Ноги мои — пуды... Маму как оставишь?

Весь встрепенувшись от ее порыва, он все же не верил в ее решимость, смотрел на нее и дрожал губами...

Раздался звонок, похожий на жужжание громадного жука.

— Свидание кончено! Расходитесь, граждане.

— Ну еще две минутки, только две! — взмолилась Аля.

— Ни одной нельзя, гражданка.

Снова движение к нему — «благослови».

— Только не на эту поездку, Аля!...

Он снова благословил ее.

— Я еще приду, — шептала Ала. — Еще попрошу. Когда отправка?

— Спасибо, не знаю... на днях, как будто...

— А как вещи придут, я — сразу же к тебе...

— Хорошо, дитя, хорошо, увидим...

— Не увидим, а будет...

— Граждане, расходитесь.

Он уже отделился от окна, Аля видит, как трудно он идет, с кошелкой в руках. Вот — исчез за дверью. Вот щелкнул ключ — кончено. Сколько чувств, самых различных может выдержать сердце. Она плачет и смеется. У входа ее ждет Лиза в окружении нескольких женщин, тоже после свидания с родными. Голос Лизы строг и наставителен:

— Смотри у меня, Аля! Будешь плакать — в Ангару брошу! — Это звучит ребячливо, но Аля именно от таких слов приходит в себя и сбивчиво тут же пытается посвятить Лизу в свои планы. Та сейчас же протестует. Угрюмые сибирячки, с укутанными, несмотря на жару, головами, слушают Алин лепет, Лизины острастки. Сочувственно кивает Але одна из них, пожилая:

— Как бы тебе мимо него не проехать, больно он уж страшной, одно костье, да глаза... Мы все прытки им помочь, а окромя передачки, что сделаешь? Путь-то какой, знать надо!

Сибирячка разводила руками, говоря о зиме, вьюге, о том, как в пути мерзнут люди — и страшная незнакомая Азия грозила смертью смелому порыву.

Но в молодой груди пела радость о его близкой воле и о своей дороге в неведомую даль.

Воображение

За проведение в жизнь внезапно родившегося плана стояли только Алины молодость и жгучесть решения. Все остальное както сразу стало наперекор. Ее выводили из ежедневной экономии и строго подводимого баланса затруднения в семье, где она жила. Решали, что она даст только в долг, но бедность, нужда и необходимость в тех же лекарствах больному — были налицо. Как ни скупилась Аля на свое пропитание в Новосибирске, все же передачи здесь обходились недешево. Аля ела с аппетитом то, что ей предлагали — и селедки с душком, и шаньги с картошкой, но уйти-то от разговоров и жалоб и косвенных хотя бы сетований на свой неразумный приезд — никуда не могла. Будь тут вещи, она сразу же освободила бы людей и рванулась бы за этапом. А у отца Павла ни валенок пока, ни тулупа, ни рукавиц — хорошо, если погода продержится, пока он доберется до места... Но все же ни одна тень не колебала задуманного, хотя сразу же, с первых шагов, люди начали разбивать ее мечту реальными и трезвыми доводами. Первая — Лиза.

— Ты замерзнешь, — плакалась она... — Мама умрет с горя. Никакой там службы не найдешь. К нему должна ехать или его жена, или никто. Потеряешь службу — пропадешь в жизни. Будешь и ему и всем в тягость.

Все подобные слова и положения удобно разбивались текстом: «враги человеку — домашние его». Эти слова все сильнее укреплялись в сознании, и тем скорее решила Аля действовать. Кроме справок о багаже, она съездила на пароходную пристань. Там ей сказали, что судоходство вверх по Ангаре скоро станет, что последний рейс на Братск вряд ли пойдет позднее десятого октября, а сейчас — конец сентября. Но почему? — возмущалась она. Когда стоит такая чудная погода. Ведь жара — прямо тропики! И она с волнением смотрела на оснащенный пароход, готовый к отбытию завтра на Братск. Неужели — предпоследний или последний?

Однако молодой простодушный капитан-бурят держался иного мнения. Сегодня — Африка, тропики; завтра — Сибирь... Сегодня жара, завтра — буран. Около Братска пороги... Если зима внезапно нагрянет — ой-ой! А зима у нас частенько в октябре становится, до десятого, до пятнадцатого. Мы и рассчитываем раньше зашабашить. Страшно погубить пароход.

С тем Аля и ушла с пристани. Хорошо будет, если дядя попадет на пароход, последним хотя бы рейсом. А она, Аля? Ну, что там думать! Она сильная, молодая. Поездом ли, пароходом ли? Но туда, куда он. Палки, лыжи. По горам по проселкам, где пешком, где ползком, где на лошади... Она слышала, что до места можно добраться с 60 рублями, иногда — пешком, иногда на лошади, которую ведут под уздцы.

Воображение разыгрывалось: вот — домики, полузакрытые снежными перинками, внутри светятся огоньки. Выплывают горы с узкими и чуть ли не отвесными переходными тропинками. Перед ней синеют пихтовые и сосновые леса, где белки скачут с ветки на ветку, и вот, наконец, та дорога ровнеет, ширится, по бокам высокие корабельные рощи. Все трудности — позади, Аля у цели... Село... Отсюда завтра же она напишет маме, что она доехала, что все хорошо, что дядя Павел... Но где же он? Как она его найдет? Ах, вот как это будет! Высокий новый забор. Дом зажиточного крестьянина. Она входит в избу. Батюшка спит, сообщают ей хозяева. Она терпеливо ждет, обогреваясь в избе. Наконец, дверь открывается — он стоит на пороге, отдохнувший, веселый и улыбается своей Але. Приехала? Наконец-то — говорит он ей. Замерзла? Сейчас согреешься...

Последнее свидание с Алей

Перед отправкой этапа Але легко и свободно дали еще одно свидание с отцом Павлом. Оно было менее радостно и еще яснее открыло Але глаза на его состояние. Он поразил ее своим напряженно-нервным, каким-то несобранным воедино видом. Торопливал слова и ее ответы. «Рад или не рад он мне?» — думалось ей. О ее поездке не проронил ни слова. «Или все так и решено между ними, или он не надеется на меня?» — соображала она, глядя на его худобу, прислушиваясь к его кашлю и отрывистым словам. Настроение их первой встречи прозвучало неповторимыми звуками, а сейчас они умолкли. В тот раз не успела она ему рассказать о брате, о школьной работе тети Нины, но только начала, как он ее прервал, не резко, но значительно и строго:

— Все это уже в прошлом. Божья воля.

Перед концом свидания Аля обеспокоенно сообщила, что вещей пока нет... Но она надеется, что вот-вот... и тогда...

— Господь поможет во всем, — был его ответ. — По теплу, даст Бог, и доедем. Только бы не пешком. Упаду... Ноги... А валенки мне дадут... Обещали тут дать.

В сегодняшней передаче были домашние пирожки двух сортов — с черемуховой и картофельной начинкой, яйца, яблоки, лук, белые сухари и конфеты. За последние дни пришли еще два письма от Нины...

— Анисьюшка! — вдруг вспомнил он блаженную Новодевичьего монастыря... и, вытащив из пакета белый сухарь, разглядывал его: — Вот какие они! Сбывается...

— Что сбывается, батюшка?

— Все... Она мне как-то: «Ешь, поп, ешь, без вилки и ножа... Поедешь по реке... рад будешь сухарику...» Сбывается.

Он снова благословил Алю.

— Спасибо за все, спаси тебя Бог, — сказал при этом. — Если все-таки, хоть и невероятно, ты выберешься туда — достань и привези мне артос и святой воды. Там ведь, наверное, ничего и ни у кого нет. Церковь в селе закрыта — я узнавал, остановимся ли в Братске — не знаю. И молись за меня хорошенько. Чтоб мои грехи, мое окаянство...

Она хотела что-то шепнуть, вложить в слова всю заботу, всю любовь — и не могла. Он слегка провел рукой по ее голове, она на лету поймала ее, прижала к губам — один момент, и он исчез за дверью.

Резкий, но теплый ветер подгонял Алю, когда она шла обратно по Ушаковскому мосту. Мимо нее прошел молодой человек с гладко выбритым лицом в дорожной темно-коричневой шапке. Зашел вперед, остановился у перил, как бы глядя в воду, пропустил Алю, но снова пошел за ней, то догоняя, то отставая, и так почти до дома. Ей это наскучило, она догадывалась, в чем дело. Такого исхода надо было ожидать с самого Новосибирска. Она храбро и резко стала перед ним.

— В чем дело, гражданин? Почему такое преследование?

Он не смутился.

— Вы такая милая девушка. Хочу предложить вам... знакомство... Можно бы в кино. Вы ведь, как мне кажется, приезжая?

— Порядочные люди так не знакомятся. Хотите знать номер дома, где я живу, вот он — № 18. Я не скрываю. Впрочем, вы и без указания его найдете сами, когда вам понадобится.

— Ловкая вы девушка.

— И догадливая... Не правда ли? До свидания.

— До свидания.

Об этом разговоре Аля ничего не сказала Лизе. И так уж Лиза всем испугана. А ее, Алю, конечно, могут потревожить, когда им угодно. Лишь бы, лишь бы... Ох, эти вещи.

В маленьком Лизином домике жизнь текла, как бы не нарушаясь Алиным приездом. Ежедневные домашние дела, приготовление подполья к зиме, отепление окошек, забота о курах, рубка капусты, вяленье омулей — вот такое скучное, домовитое, воспринималось потрясенной думой каким-то диссонансом личному настроению, настолько оно было приподнято и даже болезненно. Аля понимала, что ей надо было принимать и разделять все с приютившей ее семьей, они и разделяли все, как требовала жизнь; но все же и куры, и омули, и картошка с капустой казались ей не то помехами для личных дел и хлопот, не то совсем лишними и ненужными вторжениями в ее внутренний мир, в котором она жила и действовала. Впереди ей мерещилась победа и венец: усталый и больной человек ждет ее с минуты на минуту и не дождется ее. Она же не может достать ему даже теплой майки, а с Лизой ходит на базар и возвращается с ней, нагруженная купленной по сходной цене мукой крупного размола, вязками лука, а иначе через неделю-другую он смерзнет, будет негож — и многим таким, что Лиза хочет сберечь, закупив до мороза. Вечерами мука просеивается через большое решето над газетами на полу, затем уже мелкая, без отрубей,

снова ссыпается в мешки и прячется, только не в подполье, а в большой ларь, окованный в клетку жестяными полосами, стоящий в Лизиной кухне, она же — ее спальня в зимнее время. Два дня рубили сахарную капусту в большом корыте и заготовили две большие кадушки. В рубке капусты даже больной Иван Александрович принимал участие — отдирал листья, очищал червоточину, вырезал кочерыжки. Аля рубила с Лизой и нашла выход для своей смущенной души: она начала представлять, что рубит капусту там, в селе, для дяди Павла. Ей стало легче, когда она переключила свои действия сюда; работа спорилась. Капустные ряды в кадке слегка пересыпались солью, перекладывались тмином. Одну кадушку заготовили с морковью. Лиза то и дело хвалила Алю за усердие, думая все то же, что дурь выскочит из ее головы, что с приходом писем от матери и тетки Аля образумится и поедет обратно. Иван Александрович к вечеру ослабел, жаловался на голову и сердце, оба посматривали в окно — Лиза предсказывала буран и называла мужа барометром.

Заходил врач, выслушивал, прописывал рецепт. Больной капризничал и ворчал:

— Опять те же порошки. Не надо мне их... не могу.

Лиза живо сообщила:

— Я его петрушкой пою, доктор, от опухоли.

После ухода врача как-то полегчало на душе, и Лиза шла закрывать ставни. Алино настроение не мирилось с таким ежедневным лишением воздуха и света. К чему эта искусственная темнота? Как жутко звучит задвигающийся болт. А ведь бедному дяде Ване еще душнее. Неужели нельзя хоть четверть окошечка оставить, так, маленькую щелочку?

— Нельзя, — объясняла Лиза. — Сибирь-матушка! Тут, Алечка, такой элемент! Оборони Бог!

Иван Александрович поднимал голову с подушки и присоединял свои объяснения насчет тайги, красивого города и всего прочего. Аля слушала все и, думая о сибирском селе, решила, что они с дядей Павлом не будут закрывать ставни, чтобы смотреть в избяное оконце на хвойный лес, на снежные лапы пихт и кедров, на роящиеся в небе высокие звезды.

— Сибирь-матушка! — повторял больной. — А наш-то Иркутск! Всегда на военном положении: охраняем, но в нем столько тюремного элемента, сколько себе и не представляешь даже... Иркутск, Алечка, — большой острог. Помните, в песне поется: «Александ-

ровский централ». Ну, а тот, что на Ушаковке — Николаевский централ. Набеги на мирных жителей — дело обычное, набеги простых ссыльных, беглецов, возмутившихся были всегда и теперь есть. Так как же не закрывать? Вот мне, скажем, душно, а сознаю: 5 часов — надо закрывать.

Помолчали... Он прервал свое короткое дыхание и кашлянул.

— Ты уж брось болтать, папка, — вступила Лиза. — Теперь я поговорю... Ты, Алечка, видала наш базар? Видела там цыган-сибиряков, такие рослые люди. Что делают? Кочуют они исключительно по Сибири. Конокрады, воры. Золото ведь у нас искали, было оно где-то недалеко от Байкала. Кто находил — богател, а кто и разорялся, и шел бродяжничать. В ту же тайгу…

— И там, с ними дядя Павел, — мучительно вспоминала Аля. — За что? Какие-то воры, бродяги, от них закрываются ставнями...

— Ставни — это закон, — ловила Лиза ее мысль. — Сибиряки на них и внимания не обращают. А вот ты новичок, и у новичка всегда душа ноет от ставен.

Иван Александрович так и встрепенулся.

— Вот, вот и у меня. Как болты громыхнули, так и начинается. Сосет будто внутри. Оно, конечно, по-ученому, по медицине, — сердце больное. А я скажу — азиат — он не чувствует так, как мы, русские, попавшие сюда в гражданскую войну. Нигде так по родине не грустишь, как в Сибири. И нигде она не кажется такой близкой, как из сибирских окон. Все бы отдал, лишь бы снова увидеть свой город. Умереть, видно, мне придется в Азии, а вот в сердце ли, в мозгах ли есть зацепочка золотая. Этакая ниточка. И эта ниточка — надежда. Мысль о родине. Одним хоть глазком…

— Помолчи уж, папка, хватит тебе...

Аля ласково смотрела на Ивана Александровича. Он относился к ней сочувственно и просто. От души переживал дело, ради которого она здесь жила.

Лиза тоже рвалась ей помочь, накормить, терзалась, что не может услужить и принять, как бы хотела, ходила с ней в тюрьму и ее там поджидала. Она давала Але жизненные советы, журила за своеволье. Но она же резко и болезненно разбивала (пока только на словах) мечту о поездке в глушь.

Потихоньку написала письмо Марии Петровне с просьбой отговорить дочь от задуманного. И, что всего мучительнее, она с утра

до вечера жаловалась на бедность, на недуги, грозила умереть от разрыва сердца, умоляя написать тете Ниночке, чтобы выслали побольше денег на передачи и на жизнь — здесь все дорого, у них, у Богдановых, нет денег, чтобы продержаться с нею, с Алечкой, в трудное время.

Конечно, Аля не писала ничего такого в письмах, но зато всецело впряглась в Лизины несложные, но кропотливые дела: кормила и загоняла кур, подметала двор, выносила помои, как умела, освобождала Лизу от многих дел, но все же Иван Александрович терпел и болезнь, и жалобы, и безденежье, и приехавшую Алю, а ныла Лиза о хорошем времени в городе, где провела молодость, о потерянном здоровье и о неблагодарных людях.

— Вот, погляди, — шептала она Але в сторону дремавшего мужа, — он меня переживет. Тянет и тянет, третий год... А я разве могу! Скоропостижно. У него сердце и у меня сердце. А все почему? Я все переживаю. Одни заключенные надоели. Как еще я не сижу у «них» на Ушаковке? Вот буду эгоистом! Никому ничего не стану делать, пальцем не пошевелю!

— А вот, однако, ты что сделай, — открыл глаза больной, — сделай, что я тебе скажу, а потом уж будь эгоистом.

Лиза так и насторожилась.

— Так, — борясь с одышкой, говорил муж. — Открой поди ларь, где теплые вещи есть, тот. Вынь из нафталина тулуп Сергеев — рыжая овчинка. Старый, а теплый — печка! Стряхни, вывесь в сени. И отдай Алечке для отца Павла. Ему — в дорогу.

— Да ты что? — чуть не простонала Лиза. — Ты в уме ли, папка?

— Я? В уме. Говорю — отдай, и отдай. Не сегодня-завтра буран. А их в пятницу ушлют. Их всех, я слышал, по пятницам угоняют к месту назначения.

— Сережка-то как? Его вещь.

— И не вспомянет. Ведь я — отец? Сам ему я тулуп справлял. Он уже два года его не носит. У него теперь новый. Не последнее отдаем. Сибиряк без овчины не проживет.

— Такой тулуп! — переживала Лиза, идя к ларю. — Старый, а теплый. Зима на носу, самим бы укрыться.

— Лиза! — Иван Александрович поднял кверху палец. — Ты слушай! Эти вот люди, понимаешь, эти люди, такой отец Павел там и прочие... так ты лучше помолчи — и отдай. Был у тебя тулуп — отдала, получишь взамен, да не один.

— Ну уж — нет! — шуршала в ларе газетами Лиза. — Такого теплого — рыжая овчинка — не будет, не получу. Однако, раз сказал, так сделаю. А уж с завтрашнего дня, хочешь не хочешь, Ваня, — буду эгоисткой.

Кроме тебя — никто

Тулуп, да еще теплый шарф и рукавицы из того же ларя, передали как раз вовремя. На следующий день после передачи Аля узнала, что этап выселенцев в Братский район вышел поутру на пристань к пароходу — последний рейс Иркутск—Братск.

У Богдановых все радовались водному пути отца Павла. Лиза говорила, что надо благодарить святителя Иннокентия за такую милость: и теплое получил, и зимы еще нет, и по воде поедет, а не пешком до Тулуна, хотя стоверстный путь Братск — Усть-Вихрево оставался трудным путем, как об этом говорили люди. «Слава Богу! — и Лиза обнимала Алю. — Успели с передачей! А знаешь что, папка? — обращалась она к мужу. — Тулупа-то уж я больше не жалею! Ровно как его от души кто оторвал, а то прошлую ночь как засыпать, так в глазах тулуп и вертится: тулуп, тулуп... Теперь бы тебе вещи только получить и потом...» — Она не досказала мысли «обратно домой вернуться». В тот момент на нее глянули такие печальные и строгие в своей тоске девичьи глаза. Ее сердце сжалось, и она досказала: «И у тебя, как гора с плеч... Верно, Алечка?»

После известия об уходе этапа у Али оставалось два пути — на вокзал, справляться, пришли ли вещи, и в собор, единственный в городе. Аля ежедневно ходила к ранней, чтобы не тратить времени для Лизы и Ивана Александровича. Алины мысли путешествовали с батюшкой на Братском рейсе по Ангаре. Она видела, как рассекаются пароходным колесом суровые волны, вместе с ним она доезжала до Братска и помогала ему выйти на пристань. После Братска непроницаемая завеса дальнейшего пути застилала ее мысли. Наступила пора ожидания писем. Шел день за днем.

Осень все еще стояла ясная, только утренники белили дорогу и крыши домов. Около середины октября пришли два письма от матери и тети Нины, опечалившие до горьких слез. Эти листики не только звучали не в лад и не в такт с Алиными чувствами и волнениями, но они резали и кололи, кусали и, наконец, ранили сердце. Что же это такое? Ведь она хотела не для себя, для них же, для них — спасти родного, близкого как ей, так и им, больного

человека. Если уж не спасти для жизни, то облегчить его муки. «Умучен я, Алечка» — слышались ей слова. В первом письме всегда выдержанная, стойкая в вере мать корила дочь за то, что она совсем забыла, забыла все родное и святое ради своего безумного порыва. Брату моему, а твоему дяде Павлу не нужно в селе никого, кроме Нины, но она не может ехать за ним. Ему не нужна ни сама Аля, ни ее «истерия», а нужны только посылки, они и будут поставляемы вовремя, но если дочь хочет погибнуть в Азии, пусть погибает. Она не узнала матери в таком письме. Ей вспомнился момент отъезда в Сибирь, полтора месяца назад, когда Мария Петровна, стирая слезы, благословила ее на дорогу с целью передать вещи и побыть с дядей Павлом, сколько будет необходимо. И тогда она слезно просила передать ее поцелуй и привет брату Павлу.

«И это ты, мама! — горько волновалась Аля. — Это ты, маленькая Маша, когда-то ходившая с девятилетним братом на богомолье! Вас тогда вернули домой родители, но никто не знал, как трудно справиться детскому сердцу с разбитой мечтой!»

Алин рот горько кривился от влитой в душу полыни, когда она, еще не оправившись от первого письма, читала второе.

«Аля, — писала ей любимая тетя Нина. — Денег у меня больше на расходы по Павлову делу нет. Я все тебе, что могла, — дала и еще тебе вышлю на обратный путь. Экономно ли ты живешь? Не эксплуатируют ли тебя люди? В своем письме ты объясняешься мне в любви, но я-то знаю, что ты любишь Павла больше всех на свете. Так что не говори неправды, что решила ехать в село по любви к нам, — лично я этой жертвы не принимаю, да и не сочувствую ей. Хочешь делать для него, для Павла, — делай, а меня сюда не приплетай. Его содержать я, конечно, буду, я обязана это делать. Но учти, что лишних денег у меня нет, и постарайся сократить расходы. Поездка в село — вещь сложная. Вряд ли там ты найдешь себе применение. Итак, я могу тебе выслать на обратную дорогу, но содержать буду его одного...» Дальше следовали инструкции о теплой шапке, о кое-каких вещах, и даже без обычного «целую тебя» тетя Нина заканчивала свое письмо своей буквой и неразборчивым штрихом-фамилией.

«И это я не сокращала расходов! — ужасалась Аля. — Сидела в Новосибирске на двух шаньгах, а сейчас на Лизином омулевом пае. Сберегала каждый пятачок, чтобы лишний раз не ездить на автобусе! А здесь! Живу у бедных людей даром, и они, если даже и

ворчат на мой приезд, то с горя, с недугов, да еще ему помогают теплым тулупом. Кто поможет? Как поступить? Обратно? А может быть, это враг меня борет, чтобы мне не достигнуть села и не облегчить долю пастыря? До прибытия вещей не поступить ли мне куда? Хоть уборщицей в аптеку?»

Свернувшись в комок, Аля лежала на ларе в Лизиной кухне. Руки запустила в волосы, гребенки выпали. Прочитанные письма валялись на полу и у плиты. В такой позе застала ее Лиза. Увидев конверты, она сразу поняла, в чем дело, и у нее заныла, как больной зуб, совесть. Она подняла с полу первое письмо от Нины Васильевны, не спеша прочитала его. Аля не шевелилась. Только нервно вздрогнула от прикосновения Лизиной руки.

— А ты не дергайся! Дряни все люди, — начала Лиза свою обычную песенку. — Я, Алечка, извини, письмо прочитала. От его женки, дяди Павловой. Письмо валяется, ты плачешь, ну я и прочитала, ругай меня. И вот мой совет — плюнь и разорви! Смотри, как пишет: «меня не приплетай». Да что ты, жена ему или не жена? Одно из двух — или тебя к нему ревнует, ну, это, может, и понятно, либо какого там себе учителя завела, новенького... Не протестуй, Алечка. Тебе непонятно, ты молода, тетя Нина и красавица, и замужем столько лет — тебя, моя деточка, на любовь только еще подбрасывает, а толку нет, на несчастный случай душа попала, а любить хочется... Будь отец Павел молодой, да холостой...

Тут Аля села, как воскресшая из мертвых, и замахала рукой на Лизу.

— Алечка, не сердись, дело говорю... Ведь любовь-то меж людей с высших идеалов начинается. Некому тебе, деточка, объяснить всего. Чистота ты моя.

— Лиза! Опомнись! Ведь он — священник! Он меня на руках носил! Не кощунствуй! И ты на меня!

— Я, милая моя, за тебя, а не против. Когда-нибудь поймешь. Священники — люди, враг силен. Вещи вот не приходят и не приходят. Кто знает, может быть, так и надо, чтобы ты...

— Не ехала в село? Да что ты, Лиза! Пойми, наконец, меня. Он ждет, я его обнадежила. Он болен — и все вы, все против меня.

— А вот увидишь, что никто не против, Алечка. Все хотим, чтобы ему было хорошо. Первая я тебе в дорогу шанег и омулей положу. Но только пойми меня, если все одно за другим сложится, чтоб тебе ехать, так и будет, но если наоборот, так плачь не плачь — ничего не выйдет. Тут никто не виноват. Так сложилось. Против

запертых дверей стоять будешь и глазами хлопать.

Низко нагнув голову, охватив ее руками, как придавленная, сидела Аля, что-то обдумывая и соображая. На вопрос, пойдет ли она в собор ко всенощной, как во сне проговорила: «Пойду».

— Так у меня просьба. Кончится служба, не пропусти отца Симеона, дождись его. Он через храм пойдет. Попроси его зайти к нам завтра после обедни. Ивана Александровича рожденье, причастил бы его. И о своем бы с ним посоветовались — умница такой, проповедь говорит, что Златоуст, сам все испытал: два года высылки, и здесь как-то еле-еле его прописали. Хлопот с ним было... Ногами он повредился. Двадцать пять километров пешком, по морозу. Это когда назад шел. Ревматизм в ноги вступил и судороги.

Настроение Али немного улеглось при мысли о соборе, о возможности поделиться своими заботами с пастырем и сострадальцем отца Павла. Один за другим стали возникать в памяти имена вечных молитвенников, и первым из них стало имя Святителя Николая. Оно затеплило снова веру в заступничество и помощь. Войдя в собор за несколько минут до начала, Аля вскоре нашла икону святителя. Старинного письма и темных красок был тот образ, в правом приделе, близ северных врат. На подсвечнике уже теплилось несколько свечей. Аля поставила свою и, встав на колени, всмотрелась в образ. Святитель без митры строго смотрел на нее. «Отче Николае! — подумалось ей в те минуты. — Ты похож на батюшку отца Павла, он несет свое бесчестие, как и ты когда-то, после посрамления Ария. О, сколько надо тебе сказать! И как я могла тебя оставить!» Тут Аля вспомнила, что во все времена дороги она только изредка обращалась к нему то кроткими, сухими словами, то спешно, по утрам, читая тропарь, но зато сейчас!.. Сейчас она смотрела на него, как на единую помощь в бедах, как на Саму Справедливость в задуманном деле, как на быстрейшего исполнителя и завершителя ее пути. Страстно молилась ее душа. Бесстрастно, внимательно и строго смотрел на нее старинный лик Святителя, с обнаженной головой, слегка кудрявыми на висках волосами и таким же высоким и выпуклым лбом, как у батюшки отца Павла.

— Кроме тебя, никто! — шептала Аля, и горело сердце, и капельки слез падали на пол одна за другой, ложась рядом с такими же из воска. — И ты один все мое знаешь, все можешь. И надо ехать к нему, и я измучилась, и людей мучаю, и люди не понимают, а вещи не приходят; скоро буран — зима; а письма какие мне прислали, такие жестокие, как им только не стыдно?!

С последними словами Аля, словно мягкий комок, упала к подножию подсвечника.

— Неужели, отче Николае, тебе не нравится то, что я предпринимаю? Как ты можешь быть против? Разве я задумала худое? Греховное? Мне его так жаль! Все не могли, все его оставили, а я не хочу... Он — такой же, как ты, пастырь истинный, добрый, и он шел прямым путем... и... я больше не могу, не могу, отче Николае! Помоги! Открой путь! Пришли скорее его вещи, чтоб мне ехать! Успокой душу! Устрой дорогу!

Все вечернее бдение Аля пробыла у образа, то молясь, то плача, то просто смотря на своего небесного помощника, а по окончании службы дождалась из алтаря батюшку отца Симеона и подошла к нему.

Испытания тернием

После того как Иван Александрович был исповедан, приобщен и, полусидя на подушках, ожидал чаю, Лиза живо собрала на стол все, что у нее нашлось и сготовилось: пирожки с омулевой начинкой, картофельную запеканку, сладкую ватрушку с черемуховым повидлом. Нашлось в шкафу и немного вина с лимонными корочками, и баночка варенья, привезенная еще в сентябре Алей. В кухне быстро забрызгал кипятком самовар и на всем, наспех собранном, столе не замечалось и следа скудости, нужды, наоборот, улыбалось праздничность и довольство. Только хорошие хозяйки умеют так подать.

Отец Симеон был небольшого роста, с вдумчивыми серыми глазами и простыми, приятными чертами лица. Волосы длинные курчаво лежали по плечами.

— Я как был освобожден, так и снова завел их, — простодушно рассказывал он.

Ничем особо, кроме своих волнистых волос, он не отличался и к себе не привлекал — ни красотой, ни особым аскетическим видом или, наоборот, дородностью, как раньше отец Павел. Но с первых же его слов в нем сказался человек, умеющий говорить не только многоречиво, но умно, красиво и самобытно. Он говорил закругленными фразами, не подыскивая слов, полным, ярким, неповрежденным русским языком. Если новосибирский отец Александр во время Богородичного служения представился Але святым в строгости черт, осиянный свечами, в предвкушении неизбежно-

го своего креста, то сейчас, вспоминая вчерашние Лизины слова про отца Симеона: «говорит как Златоуст», она сразу соглашалась с ней, прислушиваясь к общей беседе.

Отец Симеон год как вернулся из ссылки, обвинялся он за какую-то пропаганду. В данный момент снова был допущен до служб без права проповедей в единственном незакрытом соборе, но ожидал и сейчас пути подальше «в места не столь отдаленные», как намекнул он.

Все в доме Богдановых оживились с приходом такого гостя. Лиза — свойственным всем хозяйкам волнением угостить, поставить на стол; Иван Александрович волновался той особой радостью, бодрящей и окрыляющей больных в ожидании Таинства; Аля после вчерашней молитвы в соборе склонна была видеть и ждать в отце Симеоне чудесного советчика и защитника своего дела. Он вчера уже успел с нею побеседовать, пока они шли до его дома. От него не укрылись ни ее заплаканные глаза, ни дрожь в голосе. Она успела в кратких словах осветить ему свое положение и заботы. Много за последние годы перенес он скорбей и, несмотря на еще не преклонный возраст, он за пятнадцать лет службы и три года ссылки, стал мудрым старцем по опытному знанию людей, да и самого сибирского края с его обычаями, нравом и укладом жизни. Он еще вчера решил поговорить с Алей о ее замысле, но не на улице, а дома, у Богдановых. Но как? Как начать и повести должную речь, как ее примет искренняя и потрясенная душа? А совет уже определился им, еще вчера он вполне оформился в его пастырском сознании: ей надо уехать обратно к родным. Ведь у него тоже была в свое время забота — единственная дочь хотела, как Аля, облегчить отцовскую участь и броситься за ним в даль, но это не состоялось, и слава Богу, что так!

Отдохнули за чаем. Всегда молчаливый Иван Александрович взгрустнул о родине... Обычно он скрывал свои мысли. Ныть и плакать об оставленном белом городе старинных церквей и звонниц, о тихой волне, набегающей на стену Кремля — это любила и умела Лиза... Но сегодня — не наговориться бы ему с ней! И во сне снятся, и наяву грезятся...

— Батюшка, — обратился он к отцу Симеону. — Сибиряки будто мне не свои. Всегда какие-то чужие. Таежники угрюмые. Всегда у них свое на уме. И вот придет весна, по опушкам в тайге, да и здесь, по берегам, черемуха забелеет, у нас ее тут сила, везде она. И в чащах, и в задах большие ее дерева, мелкий цвет такой,

«сибирская игра» ее название, другой сорт, не такой, как в России. Пахнет эта «игра» не так сильно, но, однако, как ее увидишь, так и затоскует сердце. У нас на рынке ее возами продают, букеты из нее вяжут, такие громадные белые веники. Вот и тоскую... Видел я сон, батюшка, не так давно. Плыву я в лодке, под белыми парусами, будто все по Ангаре, по Ангаре, и вдруг — диво такое — передо мной «Спас на Мироже» и церквей, как раньше, — великая сила, и звон отовсюду, тихий, вечерний, и вот я подплыл, выхожу на берег вне себя от счастья. Ну и, однако, проснулся.

— Ты, папка, к Сибири все-таки привык! — вставила свое Лиза. — Ты вот их не любишь, а все за ними: «однако, однако».

— Хорошо на родине, что и говорить! — подхватил отец Симеон, разрезая ватрушку. — Хотя бы возьмем самое простое — эту ватрушку. Честь хозяйке, спечена хорошо, косточки перемолоты. Ну, а если, загадаю я, на родине — какая была бы начинка?

Все вступили в спор. Лиза закричала — вишня, Аля — творог с корицей! Но сейчас на рынке, в эту предзимнюю пору все расходуют черемуховые запасы, а творогу найти не так-то легко. Днем с огнем ходи да ищи. Да и дорогой он, маленькая кучка — десять рублей.

— Да, хорошо, хорошо на родине! — вздохнул отец Симеон. — Я сам — из Орловской губернии. Такие уютные палисаднички бывают в средней полосе России. Все бы отдал — войти бы в такой палисадничек. Особенно весной, на ее склоне к лету: яблони цветут, сирени... И сесть бы на серую щербатую скамью. А перед нею — грубо околоченный кругляш-стол, а на нем пестро-рябиновая скатерка холщовая. И представить себе: вечер, мерно, тихо льется церковный звон... К шестопсалмию звонят, что ли?

— Бывало в юности, — вспоминал Иван Александрович, — издали из городского сада музыка доносится, а ты идешь из церкви, и у тебя на душе — своя музыка...

— Истинно так, — соглашался отец Симеон. — Церкви-то еще зазвонят, мы не услышим, другие услышат.

— Вы все же верите, батюшка, — вмешалась Алечка, до сих пор молчавшая, — верите ли в церковное восстановление еще здесь, на земле?

— Не знаю, как вам сказать... Думаю, надо, чтобы оно было. Хоть краткое. Для малого стада Христова. Для некоторых призываемых — как знамение полного небесного торжества. Но только недолго, так как, видимо, скоро всему конец. Наша родина — не здесь.

Настоящая, вечная, она для многих — все же земля неведомая, неизвестная... Школьником, еще подростком привелось мне быть в Одессе у родственников. Пошли мы там в ботанический сад. Вижу я — кустик, деревце маленькое растет в этакой клумбочке у дорожки, дощечка при нем и написано по-латыни «*terra incognita*». Это значит — «*отчизна неизвестная*». И долго в уме моем жило то название. Люди мы все — цветы. И тянемся к солнышку. К земле обетованной. И подумать только — в том же самом году приезжаю домой и объявляю родным: «Пойду по духовной части». Ну, они согласились — пошел я в семинарию. А все цветок наделал... Выводы, мысли все беспокоили, тянуло найти дорогу к Отчизне неизвестной. И так до сих пор иду, иду. С детства читаем о библейской обетованной земле. И заметьте — мы всегда рисуем себе Ханаан как свою родину. То есть придаем ей черты виденных в детстве образов и мест. Вот как яблоневый сад в родном городе в воспоминаниях Ивана Александровича, или — кто видел природу Крыма, или раннюю весну, Пасху в родной деревне — с яркой травкой, с запахом первой зелени. Эти представления всегда связаны с памятью о детстве и чистоте, о безгрешности, о любви ко всему и каждому. Мы берем самое лучшее, что нам снилось, самое возвышенное, что пережили. Самое отрадное, о чем мечталось, и с такими-то восприятиями, и то только отчасти, мы можем себе как-то вообразить Ханаан. Насколько же он блаженнее и прекраснее нашего о нем представления, если наша детская чистота или безгрешное младенчество в родительском доме есть только слабое подобие той вечной чистоты, того, как выразиться, экстракта любви, обретаемых нами сполна в истинной земле Ханаанской? И вот дерзаю я выразить еще такую мысль: ныне получают землю сию, пока неведомую, как бы в великом и совершенном подобии ими виденных и представляемых картин Отчей любви, прекрасных садов и ранних весен на родине. Но многие ведь совсем лишены были отрадных картин детства, прообразующих рай, они не видели ни любви, ни радости... Они даже не помнят детской чистоты, они знали всегда все, что должно быть скрыто от детских глаз и притом видели в омерзительном освещении. И всегда жили оторванными от прекрасного. Но и они тоже, по милосердию Божию, то есть те, что были искренни, тянулись к Свету, искали Его по болотам и далеко не чистым местам, но искали жадно, да и вообще, все те, кто взыскуется Богом для счастья, ведь Господь Тайновидец знает все причины тайн, намерения, судьбы, все души людей... так вот,

полагаю, что и они получат Ханаан именно так, как им надлежит его воспринять и получить... На пир званы все — и те и другие... Придите — обедайте!

Он вдруг замолчал, как бы оборвав речь, и все долго молчали, словно пролетел Ангел.

— Я все думаю, — прервал тишину Алин голос, — о теперешних отщепенцах общества, подразумеваю гонимых служителей Христовых... Вот они-то, думаю, сразу войдут в Ханаан, в Небесные обители! Бедный мой батюшка! — она поникла головой... Все обернулись к ней. Она думала только об одном, была полна одним. И сразу же мысли всех с Ханаана и Отчих садов наклонились в сторону ее переживаний.

— Поправится ли он, такой больной? — вытирая слезы, говорила Аля. — Как доедет до села? Лиза, не сердись, что я плачу. Я вчера все, все батюшке Симеону сказала. Он все знает. Ведь вот какая странность, батюшка! — обернулась она к священнику. — Я приехала сюда с запасом сил и не могу облегчить того, к кому стремилась, ничем, кроме передач... не могу сразу ехать за ним. Даже вещей не сумели ему прислать вовремя.

Отец Симеон словно весь встрепенулся от ее слов:

— А зачем, скажите на милость, родная вы душа, зачем вам вообще ехать за ним?

— Как так зачем? — вспыхнула Аля. — Ведь я его духовная дочь и племянница. Священника-отца я потеряла в детстве. Отец Павел был мне за родного отца, да по духу и ближе. Многие дети делают все для своих пастырей. Они ломают свою жизнь, оставляют, как велит Евангелие, родню и детей, чтобы облегчить этих мучеников и помочь Церкви...

— Все это... все это, конечно, — заговорил медленно отец Симеон, — весьма похвальные слова, и я, может быть, очень косолап, затрагивая такие ваши святые поползновения. Но не думаете ли вы, опять я вас назову — родная душа, что таким страдальцам и мученикам, как сами их называете, не нужна ничья помощь, чтобы им достичь земли, куда они идут, по своему ли изволению, по чужому ли произволу, но идут. Господу Христу, хоть смело это сопоставление, — никто не помогал взойти на Крест, кроме Его распинателей. Иное дело, если бы вы были призваны к такому решению особым расположением каким-то, но жить при нем, чтобы он еще больше страдал, глядя на вас и сознавая, что вы оставили мать и службу и родных, которые на вас сердятся и

негодуют, не имея денег, чтобы кроме него обеспечить и вас, и в такой-то путь! И своеволие ваше их смутило... Сами мне поведали, что ехали только с теми намерениями, чтобы его встретить, принять вещи... снабдить передачами, но об уезде в село за ним ведь не было речи. А не подумали бы вы, что законное место быть с ним принадлежит его супруге и больше никому? Ваша фигура будет там смешна и жалка...

— Пусть смешна... пусть жалка, — проронила Аля.

— Хорошо. Вы говорите «пусть жалка», но ведь не для вас будет в этом мучение, а для него. Новое мучение. Вы родите вашим пребыванием там не облегчение, а муку. Найдете ли вы в глухой сибирской деревне себе место, службу, чтобы оправдать свое существование, а не быть в тягость его жене? А она, как мне сдается, и жалеет его, и тяготится им в одно и то же время. Надо ли вам попадать в такое положение? Скажите мне. Только по правде.

— Я не знаю, что вы такое говорите! — с рыданием вырвалось у Али. — Он такой жалкий и слабый, у него больные ноги, он кашляет, и я ему обещала, что пойду за ним, когда увидела его в тюрьме. Он ждет меня. Почему я не могу ехать, почему? Ведь за эти последние годы многие духовные дети помогли своим духовным отцам! Как вы о них полагаете, скажите мне?

— А почему жена не поехала за ним? — вмешался несколько ворчливо Иван Александрович. — Вы ему, Аля, только напомните о том, что у его супруги была какая-то несостоятельность следовать за ним и что она сунула вас на свое место — только и всего...

— Вы совсем не знаете его жены, — с терпкой горечью говорила Аля. — Я могу прочитать вам ее письма ко мне. Она совсем не рассчитывала на мою поездку ни сюда, ни в село. Я сама, сама вызвалась ехать к нему... И сейчас — я ничего не понимаю! Запуталась! Она мне пишет, что если я для него хочу делать, то «делай, а меня не приплетай». Да, так и сказано! Ужасное письмо. «Меня не приплетай». Я тетю Нину не узнала в этом злом письме. А я ее так любила.

— Приревновала что ли? — вмешалась Лиза.

— Или завела там себе какого другого? — Иван Александрович сердито потянул на себя одеяло, но отец Симеон сразу закачал головой.

— Ни то, ни другое, золотые мои. Ни она — не ревнует, ни она кого завела, а просто чует, что вы, Александра Федоровна, родная моя душа, своим порывом ехать за ее супругом поставили себя в

неправильное положение. Вы и работу потеряли, и мать, о которой в первую голову надо заботиться, оставили... Молоды вы! Ребенок! Двадцати лет не исполнилось, а с подвигов начинаете! Своей искренней молитвой вы облегчите его положение лучше, чем путем в сибирскую даль. Ему послан крест, а не вам, подумайте об этом, душа моя, да подумайте хорошенько, не спеша. Вы вчера правильно посвятили все свое Святителю Николаю. А кому как не ему распутывать такие узелки? Ну не будем больше тревожить ваше сердце! Довольно, намучились. И все же высказать свое мнение был обязан. Да-с! Вы сами меня вчера о том просили. И обижаться — не извольте!

На этом дальнейший разговор пресекся. Аля встала и вышла в слезах из комнаты. Отец Симеон замолчал об Алином деле, сосредоточенно допивал чай и хвалил Лизину ватрушку.

Еще сибирское утро не брезжило за глухими ставнями, а Лиза стояла над спящей Алей и тормошила ее за плечи.

— Вставай, милок, вставай, беда на дворе. Буран. Куры-то все там врассыпную. Помоги скорей. На тебе тулуп. Укройся. Бежим загонять.

Полусонная Аля (спала крепко после вчерашних слез) в валенках на босу ногу, в овчинке прямо на рубашку, выбежала с Лизой в сени, откуда из дверей так и несло еще небывало колючим холодом, оттуда — во дворик. На воле стоял сущий ад; загнать кур было трудно, они кудахтали и метались; вихрь налетал и валил с ног снежной тучей; глаза залепляла мелкая ледяная колоть, снизу крутился и кучился в столбики песчаный поземок; жалобно скрипели тополь ки и единственное черемуховое дерево на дворике. Аля чуть не упала под порывом ветра и в первый момент ей показалось, что она ослепла — не проморгать. Все же она то бежала под толчками ветра, то пригвождалась к забору или к стене домика, то отрывалась от опоры и храбро выполняла поручения и экстренные наказы — отцепить с веревки кое-какое развешанное белье, вытащить из колодца ведро и т. д. Наконец куры водворились в домовой клетке, и петух, как ему и пристало, занял серединное место на шестке. На дворе все выло вокруг, люди передвигались по улицам вдоль заборов, садясь иной раз в снег, на землю, чтобы не упасть разбежавшись. Да и то это были редкие прохожие, кого застал буран. С деревьев сыпались последние листья, и все как будто застывало от холода, резкого, колючего.

В подполье у Лизы с Алей кипела работа — они задвинули дощечками и заткнули тряпьем какие-то щелочки, накидали рогож на картошку и, утеплив, по возможности, подполье, вылезли наверх, чтобы заняться топкой плиты и печки, и так — до половины дня.

Снова и снова Але пришлось столкнуться с особенностями сибирской зимы, а тут еще и Лиза не унималась — ворчала про то да се...

— Вот, дорогая моя, если бы не ты со своим делом, да разве я допустила бы такие щелки и непокрытые овощи до бурана? Эдакая завируха, а я точно предвидела. Еще вчера сидим мы с отцом Симеоном, они с папкой про родину, а у меня своя родина — подполье. Своя хата непокрыта. Видела, какую щелину мы законопатили? Ой, Алечка, слазим-ка мы с тобой еще разок. Справа-то, боюсь, не подмерзли бы. Ей ведь, картошке, немного надо, а там — не дует ли с угла. Подоткнем под нее еще рогожки, что ли?

Слазили еще разок в подполье, после того натопили до отказу кухоньку и открыли дверь в сени для птиц. Вечером их выпустили погулять по кухне. Из-за непогоды Аля не попала на вокзал — справиться о вещах. Но ей почему-то думалось — вещи тут. И она уже радостно, по-молодому, отталкивала от себя все тяжелое, что пришлось пережить, мечтая — непогода утихнет в два дня. Вещи, очевидно, пришли. Можно и в путь. Но на какие средства? Рублей пятьдесят только и осталось от передач. Надежда на те деньги, что ей обещали прислать на обратный путь, а она двинет их вперед. Лиза ей должна немного более сотни, она отдаст или перешлет. Наконец, выручит рынок, там надо спустить новенькие туфли, не носить же их там? И кое-что из белья.

Успокоенная такими мыслями, она снова на другой день лазила с Лизой в подполье, притащила в кухонный угол пять ведер картошки на расход. Погода все еще не утихала, снег заметал пути.

Вдруг, разжалобившись Алиным похудевшим и молчаливым видом, Лиза принялась ее утешать и ободрять. Всегда несогласная с Алиными намерениями, она обнадежила Алю, что знакомый, бывший следователь Зубов, посулил ей сотню в долг для поездки ее родственницы в Братскую область.

В тот же вечер пришло долгожданное известие от отца Павла. Он был на месте. Он — доехал. Серая почтовка со штампом военной цензуры трепетала в руках.

«...Наконец-то, после пятидневной дороги, весьма трудной, сопряженной с опасными неудобствами, — читала Аля, — я достиг

места назначения. «Се покой мой, здесь вселюся на веки». Природа красивая, но суровая. Как доехал? Не ведаю сам. Пути сюда такие, что сейчас не добраться, разве после зимнего Николы, как здесь говорят. Благодарю тебя и тетю Лизу за все хлопоты, заботы и неудобства, мною вам обеим причиненные. Да благословит тебя Господь, дорогое мое дитя, за твою любовь. Да устроит Он твой путь так, как Ему угодно, Его Святая воля». Дальше следовал адрес, Аля прижала к лицу дорогие строки и сказала Лизе:

— Ну вот, и он согласен на мою дорогу в село.

Теперь, после долгой проволочки с вещами, Алин путь и впрямь как будто открывался. Тот багаж, что тормозил все дело, наконец-то стараниями отца Александра прибыл в Иркутск из Новосибирска. Все, по-видимому, устраивалось как нельзя лучше. Возник вопрос — взять ли вещи с вокзала домой к Лизе или, если Але судьба ехать через несколько дней в этот рискованный путь, так для легкости переправить с нею в Тулун? Лиза советовала взять вещи домой. До Тулуна она дойдет, — рассуждала она, — благополучно, а дальше пойдут такие проселки, взгорья да обрывы, что и кожа с чемоданов слезет, и как тебе справиться с такими тяжестями? Не лучше ли разложить на четыре-пять посылок и переслать завтра-послезавтра? А чемодан я ему сохраню — переправлю к весне, как-нибудь обойдется.

Решили — Але ехать налегке, только со своими вещами. К ее приезду в село посылки будут там.

После бурана морозы крепли, уже третий день не ниже тридцати градусов. Пять посылок получилось из одного большого чемодана, их надписали, перевязали, снова погрузили на саночки и отвезли в два почтовых отделения, чтобы не было никаких задержек и вопросов. Отправили посылки, и Лиза пришла в самое чудесное настроение. Она устала от Алиных переживаний, и теперь дорога ее гостьи казалась самым естественным выходом, а непреклонное решение ехать даже породило уважение к нему. Сначала Лизе даже пришлось повторять при Але слова Некрасова: «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано».

Багаж долго не приходил, шло все напротив, молодая душа рвалась и металась. Ну, конечно, так оно и есть: «Совершить ничего не дано». Так и случилось, что непримиримая с Алиным путем Лиза, совсем переменила мысли о ее затее. И даже когда вечером, после отправки посылок, у Алечки заболело горло и ее лихорадило, а утром врач, лечивший Ивана Александровича, определил у

нее фолликулярную ангину, Лиза от души стала ее лечить и прописанными, и своими средствами — заставляла полоскать горло горячим шалфеем, проглотить пол чайной ложки денатурата... а к вечеру — рюмку водки с солью и перцем. Домашние средства казались более действенными, чем аптечные, и Аля пила все, что ей давала Лиза. Забинтованная с ушами она лежала в жару. Под подушкой у нее покоилась дядина открытка, а Лиза то и дело совала ей в рот то меду, то спирту, и ангина не казалась ни той, ни другой серьезным препятствием пути. Болезнь, очевидно, пришла как еще одно небольшое испытание терпения, только и всего.

Через два дня температура у Али упала, горло очистилось, глотать стало легко и появился аппетит. Кончалась вторая неделя ноября. Она решила, не откладывая, сразу идти на вокзал за билетами в Тулун. Лизин знакомый принес обещанные сто рублей, значит, с Алиными деньгами — сто пятьдесят. С головой закутанная в Лизин пуховой платок, вся в мыслях о дороге, о встрече, Аля повернула приделанное кольцо в калитке забора, окаймлявшего дворик, но при выходе на улицу она лицом к лицу столкнулась с человеком, шедшим ей навстречу и преградившим путь. Где она видела это лицо? Он стоял перед ней, ни на шаг не пропуская ее дальше.

— Вы будете гражданка Воинова? — и на ее утверждения заявил непреложным официальным тоном: — Вам придется вернуться обратно. И со мной.

Она все еще не могла отрешиться от своей цели — вокзал, билет... И стояла перед ним как спросонья:

—Я не понимаю... как же так? — сбивчиво начала она. — Я же собираюсь... крайне некогда, мне надо поскорее...

— Ничего не поделаешь, гражданка Воинова. — Он по-прежнему стоял перед ней, не пуская ее дальше.

— Но как же так? — дрожал ее голос. — Зачем это вам? Пустите меня. Я же ни причем.

— Сейчас, сейчас мы все разъясним, и вы все поймете... Слово «все» звучало подчеркнуто, и он начал слегка наступать на Алю, подталкивая ее обратно к калитке, как непослушного ребенка.

В сенях Лиза чуть не упала от неожиданности. Аля опустилась на стул в полном безмолвии. Больной только что проснулся и внимательно смотрел на незнакомца. Тот был в штатском только на улице. Сбросив с себя пальто, он оказался в защитного цвета гимнастерке, при кобуре. Среднего роста, розовощекий, какого-то детского типа, голова острижена гладко под катышок, а глаза

небольшие серые, как-то перебегают с места на место — «сгибают глаза» — говорят про такой взгляд. Все в комнате, и Лиза с Алей, и Иван Александрович — втроем сразу же ощутили, что разлучены, вернее отделены друг от друга. Все молчали, ожидая, что скажет гость. Он положил на стол небольшой портфель, достал бумагу и вечную ручку.

— Потрудитесь прочитать, вот мой мандат! — и он подал Лизе бумагу.

— Ничего без очков не вижу, уважаемый товарищ. Разрешите взять с кухни очки.

— Пожалуйста, не стесняйтесь, гражданка Богданова. Вы у себя дома и вообще... на полной свободе... А вот молодую особу, гражданку Воинову, придется, согласно инструкции, попридержать дома и в движениях ограничить, таков порядок.

— Значит, вы будете Фомин Иван Фомич, следователь? — прочитав бумагу, спросила Лиза.

— Уж вы больно громко — «следователь»... Я человек маленький пока. Меня по мелким разборам назначают. А знаете, где маленькие, там и крупненькое может вскочить? Не так ли? — и он, чуть-чуть усмехнувшись, посмотрел на Алю, сидевшую спокойно и даже придавленно.

Ее вдруг взорвало:

— Ни маленького, ни крупненького вы от меня не дождетесь. Дело мое — чистое. Если надо допросить, то допрашивайте как полагается, по закону.

— Какие такие допросы, гражданочка Воинова! Мы с вами в порядке разговора потолкуем, обсудим, я — человек, вы увидите, простой. Вот скажу про себя. Жена у меня есть в Минусинске. Сынок. А у вас, наверное, и мамаша и папаша...

— Только мать, — неохотно выронила Аля.

— Как так «только»? Мамаша — это все...

Аля молчала.

— Нет такой лавочки, где продаются мамочки! Вы куда собрались, гражданка Богданова?

Одетая и укутанная платком, Лиза шла к двери. На вопрос Фомина обернулась.

— Куда иду? На «кудыкин двор»... Сами же сказали, что я на свободе. Как вас понять?

Фомин заулыбался.

— Прошу прощения, я малость ошибся...

— То-то! — и Лиза в роли хозяйки совсем уже не стеснялась Фомина. — Спрашивают тоже, куда? Ведь вы к нам, поди, на несколько дней, а дома-то — или со свечой! Надо кое-что...

— Вы не беспокойтесь, гражданка Богданова. Мы на своих харчах, разве только чай...

— Знаем мы ваш харч. Все знаем превосходно... не в России, в Сибири живем. Тут — через пятерых шестой следователь. А покушать всем надобно. Дома врасплох застали — пара омулей да картошка. Вы мне разрешите по хозяйству несколько слов гражданке Воиновой. Вот я как тебя, Алечка, теперь величаю! А вы, конечно, за нами можете и в кухню...

— Гражданка Богданова, я вам ясно сказал, что вы в пределах вашей жилплощади ничем не связаны, вы живете с выходом куда угодно, а гражданку Воинову мы попридержим дома...

— Меня нечего «попридерживать» — взрывчато говорила Аля.— Сама держусь, держалась и буду держаться. Я не вещь, чтобы меня держать, не вор, не преступник. — И она обернулась к Лизе, положившей ей руку на вздрагивающее плечо.

— Успокойся и не нервничай! — говорила Лиза. — Товарищ Фомин, мы сейчас! А вы располагайтесь. Раз в руках мандат — значит все. Тут вам кушетка, ночлег. Сейчас подушку, одеяло принесу. Вы дней-то сколько пробудете? Два-три?

— А это, видите ли, зависит всецело как... от разговорчиков наших... полагаю, что...

— Алюня, пойдем на кухню. Мы на минутку. Я ее не задержу, не спрячу, мы по хозяйству...

И раньше, чем Фомин что-либо мог сказать, Лиза втолкнула Алю в сени и зашептала:

— Слушай-ка, слушай, ты с ним потише! Нельзя так, девочка! Ведь — закон. Мальчик, а при мандате. Надо подчиняться, власть.

— Чему? Для чего подчиняться? В толк не возьму. И что это происходит? Нельзя на улицу? А как же билет? С дорогой?

— Ждали долго, еще придется... Домашний арест, Аленька. Ладно, что так обошлось. Картошки сварим, солененькое всяк любит! — во весь голос, даже слишком громко, выкрикнула Лиза.— Я вмиг сбегаю! — И снова шепот Але в ухо: — Три передачи снесла на Ушаковку, да посылки эти, да две свиданки с ним, а он уже у них на счету, видать, как сурьезный; думаешь, глаза не смотрели, уши не слыхали, ноги не ходили. — И снова во весь голос: — Я у тебя на маленькую возьму. Самовар вздуем. — И опять шепот: — Говори

все правильно, что знаешь, не ври... Богу правду говори, и им тоже лжи не плети... Батюшки, дыра в авоське, дай-ка твою. Иди к нему, иди, а то вроде как шепчемся. Говоришь, поллитра взять? Ладно... — Снова шепот: — Положение известное... опыт имею...

Она исчезла за дверью. Аля, подобно манекену, стояла перед Фоминым, а затем опустилась на стул. Иван Александрович наблюдал за всем и безостановочно кашлял от едкого папиросного дыма.

— Попрошу вас, товарищ Фомин, — Аля говорила теперь если не совсем дружелюбно, то не резко и не нервно, — курите в сенях или на кухне. Дядюшка у нас очень болен и ему нельзя дышать табаком.

В знак согласия Фомин дружелюбно наклонил голову, притушил папиросу и разложил перед собой налинованный лист бумаги.

— С чего же начнем нашу дружбу? — с таким вступлением он окинул взглядом легкую фигурку девушки, что сидела перед ним с завязанной шейкой и слегка растрепанной прической. Аля вся переключилась на благоразумие, помня Лизины слова и входя в положение арестованного на дому.

— Наша дружба, — откликнулась она, — началась не сегодня. Вы меня недели две назад провожали с Ушаковки до самого дома. Не так ли? Я вас сразу узнала.

Он взглянул на нее:

— Память у вас, гражданка Воинова, удивительная!

— Немудрено, я еще молода, чтобы забывать даже случайные лица. Но, признаться, я о вас не вспоминала и встречи с вами не желала.

— Так, так! Бывают огорчения. Вы шли на вокзал, а я вас пресек.

— Откуда вы узнали, куда я шла? — в ее голосе звучали удивление и горечь.

— Ну, как не знать? Это — азбука, первые буквы. Он вам вроде родителя, как я понимаю? Для него приехали и живете. Облегчить положение. А его уж никак... того самого... не облегчить... никак... — Он продолжал тоном, не лишенным лиризма. — Многие, гражданка Воинова, так стремятся... за своими... А как потом жить? Скажите честно. Например — вам. В селе... при нем. Ни вам, ни ему — ходу нет. Церковь там закрыта. А у вас в городе — и служба, и мать, и учеба. Мать-то как вас пустила? Поди, знай, тоскует?

Оба молчали. Фомин что-то писал. Сначала Аля хотела спросить: какое вам дело, но какой-то внутренний тормоз придавливал ее. Она смотрела вниз на кончик своей туфли и, казалось, онемела.

— Ваш дядюшка, — снова начал Фомин, — крупный политический деятель, антисоветский человек и опасный противник. Вам, конечно, известна его дружеская многолетняя связь с профессором истории... и с покровителем института, где он преподавал. Известны ли вам все обстоятельства, благодаря каким он попал сюда? Известно ли, или нет? Говорите правду...

— Не знаю ничего и никого — и почему его обвиняют. Лично я не верю и не могу признать за ним такой вины. В институте я не была. У меня среднее образование. Ни в чем он не виноват, кроме своего сана.

— Молодости свойственно так говорить. Охотно хочу верить, что сами вы не были в его сварке. А не известно ли вам, что ему совсем недавно отменили высшую меру наказания?

— Значит, — перебила Аля — признали его невиновным?

— Нет, не значит... Просто сжалились над больным, пожилым человеком, которому жить осталось считанное время...

— Сжалились? — Алины брови сурово сдвинулись. Двадцать пять лет, тяжелый путь и дальнее село — это сжалились?

Он в свою очередь веско и сурово глянул ей в глаза.

— Перейдем-ка лучше к делу.

И, спросив ее документы, взял перо. Долго писал, а затем пригласил ее выслушать. В показании значилось, что она, Александра Федоровна Воинова, девятнадцати лет, восьми месяцев, уроженка Витебской губернии, тоже дочь служителя культа, ныне покойного, проживающая — следовал адрес — окончила в 1930 году после десятилетки Первую Ленинградскую фельдшерскую школу, работающая в настоящее время в аптеке №... практикантом-фармацевтом, 8 октября 1931 года прибыла сначала в Новосибирск, в Западный распределитель, а затем, не найдя там своего родственника, служителя культа, приехала сюда, в Иркутск, в Восточный распределитель, дабы получить с ним свидание и передать ему его вещи и теплую одежду, шедшую сюда малой скоростью, багажом. Вещи ему переслали родной брат с бывшей женой подсудимого, с ним уже восемь лет находящейся в разводе. На этом пункте Фомин отложил бумагу, надеясь продолжить ее в порядке допросов.

— Ну, скажите, почему вы решились не только передать багаж, но и ехать за выселенцем? Потерять свое лицо, да и молодую жизнь? Кто вас толкнул на такое дело?

— Я? Никто меня не толкал. Добровольно.

— Хорошо. Запишем «добровольно». Если бы я был прежний

кавалер, то сказал бы: «Делает честь вашему сердцу». Но сердце иной раз выберет недостойный объект для поклонения. Разве не так? Еще вопросик: какие были ваши планы, что приехали сразу не сюда, а в Новосибирск? Насчет этого самого дядюшки?

— Какие планы? — нахмурилась Аля. — Нам сказали в Ленинграде, что он высылается в Западный распределитель. Я там его и ждала, ютилась кое-где и ходила по тюрьмам, но его не было. Я дала сюда телеграмму, вот этой самой гражданке Богдановой, она справилась, что он тут, и я приехала. Она его не знает, никогда его не видела.

— А кто вам эта гражданка Богданова?

— Крестница покойного отца.

— Почему она находится здесь?

— Со времени гражданской войны. Службу ее мужа — вот больной, что лежит перед вами, — банк, переправили сначала в Улан-Удэ, затем сюда. И остались тут.

— Понятно... Хорошая эта дамочка. Но давайте с вами дальше, — уже официально по-допросному шел Фомин. — Как вы лично представляли свое положение, после того как перерешили не ограничиться только передачей вещей, а согласились за ним следовать? Что побудило вас оставить ваше первое решение?

Аля не могла сдержать удивления.

— Что меня побудило? Просто жалость. Но и вы мне скажите тоже — как вы узнали, что я перерешила? Мы разговаривали один на один. Никого не было.

Он не мог сдержать улыбки.

— Азбука, гражданка Воинова, первые буквочки алфавита. Так значит вы его пожалели? Запишем и это: «в порыве жалости»...

Она слегка задумалась.

— Не знаю, как вам яснее представить... Сперва мы, родные, думали, что его совсем сразу отпустят, оставят жить в Новосибирске. Я его возьму как больного на поруки. — Фомин усмехнулся. — Я верю и верила, что он невиновен, что его совсем отпустят. А когда увиделась с ним здесь, — голос ее дрогнул, — ну разве можно было не последовать за ним? У кого бы не задрожало сердце? Ведь это — тень человека, что-то такое... не выразить словами...

Он довольно резко прервал ее.

— Видать, вы юридически и политически неграмотны. Чудачка, право! Я извиняюсь, конечно, за выражение. Но... полмесяца ждать в Новосибирске, что отпустят вам на поруки такого типа?

Встал, внезапно подошел к Але и положил словно бы дружественную руку на ее плечо. Она тотчас же нырнула плечом вниз и вбок, скидывая с себя его руку. Он тотчас же отошел.

— Поезжайте-ка домой, к мамаше. Лучше будет.

— А почему не в село? Разве после его приговора и выселения я не вольна поступать, как хочу? Если бы даже, чего я не допускаю, он был в чем-то виноват, но я-то не обвиняюсь, я на свободе?

— Вы? Сейчас вы тоже поднадзорная. И будете таковой не только по приезде в село, но и всю жизнь. С поля нашего зрения вы не выйдете. А он — через небольшой срок — умрет. А вы вернетесь домой. Все равно, уверяю вас, вы останетесь поднадзорной. Время есть, возвращайтесь к себе, работайте, учитесь, служите родине — завоюйте доверие властей, и ваша первая оплошность будет аннулирована, с вас будет снят надзор и подозрение. Но пока вы спаяны с таким дядюшкой, с его существованием и политическим прошлым, с его деятельностью, в преступности которой я не сомневаюсь, вы под наблюдением.

— Но, послушайте, — уже возмущенно, еле сдерживая себя, говорила Аля. — Неужели вы всех припаиваете к каким-то делам? И у вас нет сознания родства, дружественных чувств и, наконец, простого человеческого отношения к тяжелобольным?

Фомин помотал бритым катышком головы и, наклоняясь над бумагой, неотрывно писал.

— Таких чувств, гражданка Воинова, у нас нет и быть не может, пока существуют опасные элементы...

В сенях открылась дверь, и по Алиным ногам заструился холод.

— Куры мои милые! Пташечки мои пернатые! — причитала в прихожей Лиза. — Сейчас, сейчас, мои хорошенькие! Забыла я вас сегодня! Сию минутку крупки дам, мои крылаточки!

Как ни в чем не бывало она вошла в комнату, не глядя на Фомина и Алю, первым долгом к больному мужу.

— И тебя, папка, сегодня забыла и кур не накормила. Яички бы с утра тебе сварить, да вот какие случаи. Ну? Как у вас дела? Беседу кончили? Закрывайте-ка лавочку, довольно на сегодня. Аля, собирай на стол. Ходить по квартире ей разрешается? Добро бы какие кулуары были. А то — одна комната и кухня. Тоже, нашли уголовную.

— Политическую, — мягко поправил Фомин.

— В политике наша Аля ни бум-бум. Заверяю вас.

— Вот и плохо...

— Ну вас, хватит меня ловить. Не поймаюсь. Садитесь, садитесь. Аленька, помогай, дружок. Тащи, что там есть вчерашнее, кусок пирога, омуля с подполья, грибков положи в салатник, хлеба порежь. Сковороду на примус, картошку разогрей, закуска есть. Пока закусим — свежая картошка сварится.. Где шкалики, те, граненые, с морозу выпьем беленького, что я — даром ходила?

И Лиза, не без грации подбоченясь, запела:

Ставьте, ставьте самовар, золотые чашки,
Ко мне миленький придет в шелковой рубашке.

— Это меня приятно удивляет, — заулыбался Фомин, — как нас не боятся граждане. Что мы, в самом деле, страшные какие? Такие же люди. А если что по закону, то как же без него? Такое положение.

— Закона хватит на сегодня! Садитесь! Кушать пора!

Как в волшебной сказке, несмотря на Лизины слова «ничего у нас нет, кроме омуля и картошки», все явилось на стол: и грибы, и кусок пирога, и огурцы, принесенные с базара, и омуль, и свежий хлеб. А уж когда поставила зеленые, грубого стекла шкалики и поллитровку столового вина, то настроение стало совсем праздничным.

— Хрусталь графа Гараха! — хвастала Лиза.

— Почем и где? — интересовался гость.

— Все там же на базаре, у китайца. Подарок сына, когда дома был. По три рубля пятьдесят копеек штука.

— Ах, эфиопы! Вот кого надо бы!

— Что вы хотите — граф Гарах.

— Да он и рядом с ним не стоял. Вот жулье!

— Этих самых китайцев, — подал хрипловато голос со своего угла Иван Александрович, — вот таких жуликов, что стеклянных гарахов продают да всяким зельем больных лечат, вот их-то вам надо в первую очередь, а не тех, которые ни в чем не повинны!

— Хватит, Ваня, про виновность, власти сами разберутся, — прервала его Лиза. — Выпьем-ка лучше. За что будем пить? Ваше здоровье, Иван Фомич! Эх, в праздники не выпили! Аля хворала. За четырнадцатую годовщину! За мир! Будьте все здоровы! Папка, пей с нами, и тебе сладкого чаю в Гараха налью.

Домашний арест

Пять дней прошли, как единые сутки. Аля смирилась, сидела взаперти, спала не раздеваясь, — стесняло присутствие Фомина, а днем изредка подвергалась его кратким допросам, все в том же роде, как и в первые часы. Похоже было на урок — пришел учитель, а ученица ему отвечает, и все происходит в самой мирной, домашней обстановке. Иван Александрович как-то пошутил даже: «Я тут у вас для контроля». Но он и не мог мешать, лежа в дальнем углу большой комнаты, глуховатый, да и «разговорчики», по выражению Фомина, велись тихо. В те докучливые минуты, когда им применялся официальный тон, вынималось вечное перо и папка Алиного дела, и, казалось, что тут пахнет обширным докладом, Аля морщилась, словно от полыни. Однако же отвечала ровно и спокойно. Все тут перевертывалось и было записано — и родные, и детство, и подруги, и техникум, и служба в аптеке, а главное — церковная жизнь с момента сближения Али с политическим родственником, служителем культа. Был затронут высочайший покровитель института, где он преподавал, но Аля там не училась и его не знала, хотя имя его, как шефа, известно было всем. Не о чем, казалось бы, и спрашивать больше, но все-таки находились какие-то невзъерошенные пункты по этим целинам. Фомин вел Алю к сознанию, что не только поездку, но даже и память о помиловании смертника надо вычеркнуть начисто из жизни.

Что-то странное и страшное происходило в ней при таких допросах, что-то испарялось живое и действенное из души, обрезалась ниточка надежды на встречу с батюшкой. Она как бы вся выдохлась для предстоящего ей последнего шага, в ней угасло огненное желание следовать за его путями и ему служить. Вся жажда освободиться от допросов, ехать за билетами и двинуться в село из Иркутска отошла в область прошлого. Настоящее — вот оно: гладко, под нуль обстриженный и чистенько выбритый молодой человек, с каким-то мигающим с места на места взглядом, всех в доме стеснивший, а особенно больного Ивана Александровича. То Фомин закуривал, забывая о просьбе не курить в комнате, а постоянно напоминать ему уже надоело, то он располагался на своей кушетке, с блокнотом или газетой в руках, то насвистывал «Варяга», то, поставив ногу на табуретку, наводил суконкой глянец на сапог, и при этом он был всюду, везде проникал, и от него никуда нельзя было спрятаться. Лиза прозвала его «Алин сожитель» — это

бесило девушку. В иные минуты она с отчаянием шептала Лизе: «Лучше бы я в тюрьму попала»... «Что ты, что ты, потерпи, — был ответ. — Скоро кончится. Я уж знаю».

То он посылал за папиросами Лизу, то сам ходил за ними, оказывая доверие поднадзорной.

Фомин давно разобрался в Алином деле, понял, что ничего опасного в ней не кроется, но его поведение уточнено и запланировано свыше, ему надлежало выдержать марку, довести до конца. Если надо было принести воды из колодца или просто выйти из сеней, Лиза, как по уговору, ходила вместе с Алей, и хотя Фомин не сомневался, что Аля никуда не убежит, все же не давал разрешения на свободу действий. Часу в шестом обедали. Лиза творила чудеса кулинарии, превращая в ливер тощую требуху. Она пожертвовала «сожителю» двух омулей, предназначенных Але в дорогу, пекла гороховые оладьи и ежедневно приносила по поллитра, тратя Алины путевые деньги, и «сожитель» выпивал из зеленого шкалика графа Гараха. Гарах выручал. Лиза и Аля выпивали только по четверть шкалика. Настроение у всех поднималось, а главное, посторонний человек на время становился простым гостем, в меру разговорчивым и даже сочувственным к больному.

— Что, бока отлежал, папаша? — в тоне сквозило участие.— Вставай-ка, выпей-ка с нами.

В одну из таких минут Фомин рассказал, что у него в Минусинске жена и трехлетний сынишка, что сюда он назначен временно и по семье очень скучает. Аля желала бы одного — чтоб из села пока что не шли бы известия, этот человек, конечно, вскроет письмо. Когда вечером все ложились, Аля сидела одна у своего составного ложа из табуреток и скамей, тахтой завладел «сожитель», и не раздевалась. Тот давал ей благие советы «не стесняться» — «мы люди семейные и честные, нельзя же шестую ночь, как в вагоне...»

Несмотря на такие советы, Аля стеснялась и только в глухую ночь, слегка освободясь от застежек и обуви, ложилась, слушая безмятежный храп «сожителя» и надоедливый кашель Ивана Александровича.

Отдай Святителю камень

Было очень рано. В сенях петух слетел с шестка и прочистил горло. Кто-то стукнул в дверь. Лиза, с овчиной на плечах, юркнула в сени. Аля еще в дреме услышала фамилию Фомина. Ему передали телеграмму из Минусинска. Ее только что доставили в отдел. Временный адрес сотрудника у Богдановых был известен.

Разбуженный Лизой Фомин сразу вскочил. Пока отворяли ставни, он выбежал во двор и там вскрыл телеграмму от жены. Несколько слов решили дело. У Вити — скарлатина, он в больнице — выезжай немедленно.

Фомин собрался так же внезапно, как и вошел сюда, не замедлив ни минутки. Поезд отходил днем, но ему надо было отчитаться и оформить отъезд. В нем сразу проснулся отец. Дело какой-то девчонки, забравшейся в Сибирь, мотивы которого ему было поручено выяснить, так же как и личность этой девчонки, — все это исчезло, стало, как и на самом деле — безопасно. Витя, с его синими глазками, с его словечками, с пухлыми его ручками, может умереть, а вдруг и умер, пока отец едет к нему! И Фомин чертыхался, налаживая ремень, что-то совал в карманы. Аля срочно спешила пришить ему к обшлагу пуговку, Лиза завертывала ему в дорогу два бублика и кусочек пирога, как бы не оголодал в дороге. Он протестовал, но принял, наконец. Обе чистили на нем гимнастерку. Наконец, его шаги уже за комнатой, он — «в прошлом». Ставни настежь, куры кудахчут в сенях. Аля — на шее у Лизы, обе плачут, смеются. Иван Александрович присел на кровати, что-то говорит, чего не слышат обнявшиеся.

— Ты меня, Лиза, во всем выручила. Милая. Не забуду.

А Лиза уже вытерла глаза и смеется и поет:

Ставьте, ставьте самовар, золотые чашки...

Они подсчитали оставшиеся после ухода Фомина Алины деньги. Шесть поллитровок, да кое-какая закуска к обеду, да пара омулей, занятых в долг у соседки — дорожная сумма спасовала чуть ли не на половину. Решили спустить на базаре туфельки. На что, в самом деле, для села туфельки беж? Их взяли тотчас же, но за полцены! Напуганная Аля все боялась, что Фомин вернется. Лиза же только смеялась: «Он теперь на всех парах катит к сыну, о тебе и не вспомнит! Скажи, какая вредная личность!»

Ходя с Лизой по базару, Аля всей грудью втягивала в себя морозный воздух. «На воле, на воле!» — шептала она. Но помимо всего в сердце ее стучались и вылезали новые, невеселые мысли. После Фомина в квартире пахло папиросами и дешевым бритвенным одеколоном. Лиза укутала Ивана Александровича пуховым платком и давай проветривать комнату. И через четверть часа обе принялись мыть полы.

— Чтобы духу твоего, сожитель, не было! — на этих словах Лиза отжимала тряпку. — А потом печку истопим... И завтра с утра — марш за билетом. Ехать — так ехать!

За вечерним чаем Аля вся ушла в себя и завяла. Ни Лизины побайки, ни веселые шутки насчет недавнего гостя не могли поднять настроения. Оно упало. Куда делось ее рвение в дорогу? Та ли это Аля, преодолевшая все оговорки, трудности, беседу с отцом Симеоном, запугивания Фомина — и все же оставшаяся при своем? Не та, не та! Апатично помешивала ложкой в стакане. Ей трудно было поднять глаза на окружающее. Теперь, когда путь открыт, никто ее не отговаривал, как прежде, когда все идет в ее пользу, какая-то тупость овладела ею. Вещи сложены, едет налегке и своим отъездом облегчает людей, которых так или иначе пришлось стеснить... И внезапно сковала ее непонятная усталость, в ее духе произошла какая-то перемена. Не хотелось не только ехать — встать со стула было трудно. Как она несколько дней тому назад ждала его вещей! Как радостно развозила с Лизой посылки! Как стремилась в село! Все, все угасло в ее горевшем духе. Она еле отвечала на вопросы. Ссылаясь на головную боль, проглотила таблетку пирамидона. Наконец настала ночь, ставни давно закрыты. Если утром она достанет билет на Тулун, то вечером выедет.

Но как только Аля закрыла глаза, так и начала думать о матери. Как перегородкой, мама заслонилась от нее работами и хлопотами о нем, о дяде Павле. Только раз, получив от матери горькое письмо с упреками, Аля обернулась к ней в мыслях, но каких? Возбужденных, взволнованных, негодующих... Их разделяла стена Алиного неукоснительного желания ехать в село, муками и скорбями такого решения, всеми событиями здешней жизни в далеком краевом городе.

В тишине и темноте ночи, когда бесшумно летящие в вечность минуты прорывались кашлем больного и ровными похрапываниями Лизы, перед Алей возник до полной почти реальности облик матери. В тонком сне — они вместе стояли в соборе, куда недавно

приходила Аля, перед образом Святителя; мать — прямая, худощавая, как бы вросшая в стену, вровень с иконой, Аля держала в руке один из аметистов с креста отца Павла и услышала приказ матери: «Отдай Святителю камень...» Аля медлила, но мать пришла ей на помощь. Отделившись от стены, она сняла Евангелие и покров с руки Святителя, обнаружилась живая и властная его длань. В просительном движении ладонью кверху, эта рука протянулась навстречу Алиному зажатому с камнем кулаку. И Аля разжала пальцы...

— Возьми его, отче Николае, — сказала она ему. — Мне жалко, но ты просишь... возьми его... — аметист блеснул райским лучом на его ладони, рука, принявшая камень, сжалась. И снова перед Алей образ Святителя, рука под покровом, на покрове — Евангелие.

Аля проснулась. Утро. Вчерашняя тяжесть исчезла. В груди — легко. Дорога не томит. Как блаженно, свободно и легко дышать, она вся в чем-то прекрасном, вне своей воли и бытия. Но она еще не успела одеться и выйти на улицу, как сияние души и легкость сменились тревогой и слезами. Лиза вскрыла телеграмму. Она была от Нины Васильевны: «Мама больна, денег нет, выезжай домой немедленно»...

Бывают в жизни приказы, которых нельзя ослушаться. Может быть, некоторые идут напролом, становятся героями, но Аля сразу схоронила мечту о дороге к своему батюшке. Не стало даже времени углубиться во все происшедшее. Поезд отходил в шесть вечера. Естественно, что в душе дочери не могло быть радости, посетившей ее утром. Но и большой камень не лежал на груди, его место заняла тревога за мать, во всей силе проснувшаяся и повернувшая мысли обратно домой: «Выезжай немедленно, мама больна». Слова «денег нет» не могли удержать Алю, хоть она собиралась ехать в обрез. Но мама? Чем больна? Что с ней? «Отдай святителю камень» — так она сказала ей ночью, во сне... Лишь бы ты была жива и здорова, мама!

Надо было спешить. Билет достали сразу, в то же утро. Аля взяла конверт и бумагу. Она кляксила письмо слезами. Но пусть эти кляксы и помарки, и разводы — он поймет, должен все понять! Ответ от него она получила только в Ленинграде. Она просила у него прощения за необдуманный порыв. Все шло наперекор ее мечте и обещанию последовать за ним. Ей кажется, что все небесные силы восстали против ее замысла. Мама заболела, и

она должна ехать обратно. «Вот, что я поняла, — быстро строчила Аля, — и чем должна с тобой поделиться. Надо жизнью, многими трудами и потом, слезами и терпением заработать разрешение и благословение послужить таким, как ты. Я дерзнула — и осеклась. Обнадеживала — и обманула тебя. Прости, благослови, не забудь, молись». Забыв о цензуре, вся в слезах, оканчивала она письмо. Но слезы не отяжелили, орошая письмо и конверт, на ее груди не былобольше камня.

Все присели на минутку, провожая Алю. Даже Иван Александрович спустил ноги. Когда же Лиза с Алей двинулись к выходу, он привстал, держась за стул, влез ногами в галоши, разрезанные на подъеме, и со словами: «Ну-ка провожу Алечку до двери» — пошел по стенке, шаркая рукой по обоям. Жалостная дрожь овладела Алечкой. Последний раз! Никогда больше! Может быть, с Лизой, но с ним — никогда! Этого больного, доброго ворчуна, что отдал дяде Павлу без запинки сыновий тулуп — она не увидит больше. Сколько пережито у них! Она обернулась на светлую, просторную, бедно обставленную, но чисто убранную комнату. Здесь вот недавно, на узкой кушетке ночевал «сожитель», тут у окна она глядела на вьюгу и думала о задержавшихся вещах. Все! Ее чемоданчик и портплед погружены на саночки. До вокзала — с Лизой, пешком недалеко. Через два часа поезд отойдет от города... Мороз небольшой, всего двадцать пять градусов. В Алиной груди какая-то, ей самой непонятная пустота ли, легкость ли? Неужели все, все кончено, и она уезжает... не туда, где гостили ее мечты... куда тщетно порывалось горевавшее сердце, а домой? Вот скрылся за дверью Иван Александрович: «В добрый час! Помоги, Боже!» — слышит Аля его последние слова и, обернувшись, кричит ему: «Спасибо за все!» Лиза отгоняет кур обратно: «Куда на мороз? Пропасти на вас нет. Околеть что ли хотите?» Щелкнула седая задвижка, открылась высокая калитка. Поскрипывают полозки саней, покатились саночки за Лизой и Алей, и уже далеко остался позади дощатый забор, за которым Аля столкнулась так недавно со своим «сожителем». Быстро, быстрее полета саночек по алмазно-искрящейся дороге, все пережитое остается в прошлом. Скоро и шаткие мостки привокзальных улиц, и Ангара, и вокзал будут сном, отойдут в область воспоминания. Молчит Аля, катятся саночки, не удержать Лизе своего языка. Опять вспомнился Некрасов.

— Что я говорила, Алечка? Припомним? В жизни все так: «суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано!»

Молчит Аля, но Лиза, чтобы позолотить пилюлю, снова таинственно нашептывает Але, будто при «сожителе»:

— Тут сбоку, в корзиночке, я тебе двух омульков положила... вяленых. Яичек пару... пирожки вчерашние... доедешь. Сыру кусочек, а на станциях лучше не выходи... Вдруг поезд... — останешься...

Аля молчит и на это.

Суждены нам благие порывы…

Поздно вечером поезд подходит к Тулуну. На вагонных окошках густо расцвели узорчатые, диковинные листья и цветы, крытые седым бисером. Увидеть станцию со всей окрестностью было нельзя. Аля не ложилась, ждала Тулуна. Тот поворотный пункт в сторону Братска и от него сухопутный стокилометровый переезд по горам и кряжам до Усть-Вихорева — того села, где находился и в эти дни ждал ее приезда отец Павел.

Безумная мысль охватила Алю, когда вагоны замедляли ход перед Тулуном, и скрипя обмороженными цепями и колесами, подходили к станции. Остановка — пять минут, довольно для того, чтобы сбросить вещи и, оставшись с двадцатью пятью рублями в кармане, как-то добраться до цели.

Что это была за мысль? Что за порыв? Последняя попытка души не уступить жизни своей заветной несбыточной мечты? Но такая мысль, хотя и очевидная, сознательная и яркая, не нашла для себя точки опоры. Ее откинуло и разбило вдребезги другое, более властное и самой жизнью утвержденное сознание: «Мама, — что с ней? Выздоровеет ли?»

Полная луна освещала станцию, когда Аля, накинув платок и пальто, вышла на площадку вагона. Небольшой станционный дом, типичный сибирский забор отходит от него на две стороны. Два оконца светятся, третье затемнено. Нагие тополи не заслоняют оконного света, тени от их ветвей узорчато дрожат на стене вокзалика — ветер...

Все еще стоит поезд. Жадно всматриваются глаза девушки в неясную снежную даль. Увидеть им хочется, пронзить почти две сотни километров, постигнуть невозможное — что там? Через неделю только узнает он, что она не приедет к нему. Прав Некрасов: «суж-

дены нам благие порывы...» Права и Лиза, напомнившая ей эти слова. Права, потому что...

Длительный заунывный звонок прервал ее думу.

— Потому... права... что я... отъезжаю от Тулуна...

Вагоны двинулись, заскрипели... и Але вспомнилась та сибирячка с Ушаковки, что после первого свидания с отцом Павлом сказала ей около домзака внушительно и строго:

— Как бы тебе мимо него не проехать!

Она, эта простая женщина, была права. Больно сжалось сердце. Какими-то неисповедимыми путями Аля проезжала мимо.